МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ОДОЕВЦЕВА

НА БЕРЕГАХ СЕНЫ



И. В. Одоевцева

На берегах Сены

Под редакцией Л. М. Суриса



Москва
Берлин
2016

УДК 82
ББК 83.3(2)6
О44

Одоевцева, И. В.
Б48 На берегах Сены / И. В. Одоевцева ; под ред. Л. М. Суриса – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 163 с.

ISBN 978-5-4475-8402-3

Эти воспоминания были написаны поэтом и прозаиком Ириной Владимировной Одоевцевой искренне, от сердца и с тайной надеждой, что читатели навсегда оставят в своей памяти людей, упоминаемых в этой книге, ведь как писала сама Одоевцева: «…полюбите тех, о ком я сейчас пишу, – вы обязательно подарите им временное бессмертие…»

В 1923 г. Ирина Владимировна выехала вслед за мужем за границу. Обосновавшись вначале в Берлине, а затем в Париже, она встречалась со многими талантливыми поэтами и прозаиками Серебряного века, деятелями культуры и парижской эмиграции. Среди имен, упоминаемых в книге – Андрей Белый, Игорь Северянин, Дмитрий Мережковский, Иван Buниин и многие, многие другие.

Мемуарные записи «На берегах Сены» (1978–1981 гг.) завершают дилогию (первая книга – «На берегах Невы», 1967 г.).

УДК 82
ББК 83.3(2)6

ISBN 978-5-4475-8402-3

Любовь движет Солнце и другие звезды.

Данте

ОТ АВТОРА

Мои воспоминания – «На берегах Невы» и «На берегах Сены» – своим появлением на свет обязаны исключительно Юрию Константиновичу Терапиано, памяти которого я и посвящаю эту книгу. Он был ее первым читателем, первым судьей. Конечно, глава о самом Юрии Константиновиче написана мною уже после того, как смерть безжалостно похитила его у нас. Он не дождался выхода книги в свет. Но то, о чем он мечтал, то, во что заставил поверить и меня, сбывается: моя книга, которая за рубежом дошла всего до нескольких тысяч читателей – плачевно малы стали тиражи наших эмигрантских изданий! – теперь отправляется к сотням тысяч читателей на нашей родине. Я счастлива, что могу донести до вас, мои дорогие читатели, дыхание и чувства тех, кто так долго жил без родины, счастлива, что могу их сегодня для вас воскресить.

В предисловии к книге «На берегах Невы» я просила у читателя любви к тем, о ком пишу, потому что, как сказал Габриэль Марсель, «любовь дарует временное бессмертие». Каждый раз, когда произносишь «я тебя люблю», – это значит, что ты не умрешь, не умрешь, пока я, любящий тебя, буду жить.

И читатели в своем сердце и памяти откликнулись на мою просьбу. За это я им глубоко благодарна.

Теперь я обращаюсь к вам с той же просьбой о любви к людям, о которых я пишу в этой книге. Все они нуждаются в еще большей любви не только потому, что «горек хлеб и круты ступени земли чужой», но и потому, что еще более, чем хлеба, им не хватало любви читателя, и они задыхались в вольном воздухе чужих

стран. Ведь всем поэтам больше всего нужна любовь. Петрарка писал: «Я не хочу, чтобы меня через триста лет читали. Я хочу, чтобы меня любили».

Нет другой страны, где так любят и ценят писателей, а особенно поэтов, как в России. Здесь считают, что поэты мыслят стихами.

Я согласна с Мариной Цветаевой, говорившей в 1923 году, что из страны, в которой стихи ее были нужны, как хлеб, она попала в страну, где ни ее, ни чьи-либо стихи никому не нужны. Даже русские люди в эмиграции перестали в них нуждаться. И это делало поэтов, пишущих на русском языке, несчастными.

И если вы, мои читатели, исполните мою просьбу и полюбите тех, о ком я сейчас пишу, – вы обязательно подарите им временное бессмертие, а мне сознание, что я не напрасно жила на этом свете. О, любите их, любите, удержите их на земле!

1983-1989 Париж – Москва

Ирина Одоевцева

Светлой памяти
Юрия Терапиано

Вот уже три месяца, как я – навсегда, о чем я еще и не подозреваю, покинула Петербург. Первый месяц я прожила в Риге, где обосновался мой отец, а оттуда перебралась в Берлин.

Нравится мне здесь, за границей? Нет, совсем не нравится. Всё тут «не то и не так». Не об этом я мечтала в Петербурге, не так я себе представляла заграничную жизнь.

Мне часто хочется вернуться домой, но об этом я и заикнуться не смею, мой отец упал бы в обморок, услышав, что я хотела бы вернуться в Петербург.

Я никому не признаюсь в том, что я разочарована. Большинство бежавших из России в восторге от берлинской жизни и наслаждается ею. Подумать только – сплошной праздник – магазины, где можно все что угодно купить, рестораны, кафе, такси. Чего же еще желать?

О стихах здесь как будто все забыли. Трудно поверить, что эти самые люди еще совсем недавно шли по неосвещенным, страшным ночным улицам, усталые, голодные и озябшие, шли в мороз, под дождем, часто через весь Петербург, только для того, чтобы в Доме искусств или в Доме литераторов послушать стихи.

В Берлине я живу одна, на положении «соломенной вдовы». Георгий Иванов вот уже неделя, как уехал в Париж, повидать свою маленькую дочку Леночку, ну и конечно, свою первую жену. Уехал с моего позволения и даже благословения я, слава Богу, не ревнива. На время его отсутствия я устроилась вполне комфортабельно – у меня спальня и приемная в немецком пансионе и меня, «соломенную вдову», постоянно

навещают друзья и знакомые, заботящиеся, по его просьбе, обо мне.

Я, как полагается, с утра бегаю по магазинам, обедаю в ресторанах «Медведь» или «Ферстер», а по вечерам бываю в разных кафе, сборных пунктах беженцев.

Словом, по Оцупу:

Я время дельно провожу,
Я изучаю модный танец,
В кинематограф я хожу
Это ведь тоже полагается.

Модные танцы мы все в Берлине усердно изучаем. Ими увлекается и седоволосый Андрей Белый, связывающий, как это делал и Ницше, танец с философией. Для него теперь день без танцев – пропавший день. Он в одной из «танцевальных академий» часами проделывает с вдохновенным видом особую «кнохен гимнастик» и пляшет как фавн, окруженный нимфами.

Зрелище довольно жуткое, особенно когда эти пляски происходят в каком-нибудь берлинском «диле»-кафе. где танцуют. Там Андрей Белый, пройдя со своей партнершей в фокстроте несколько шагов, вдруг оставляет ее одну и начинает «шире, все шире, кругами, кругами» ритмически скакать вокруг нее, извиваясь вакхически и гримасничая. Бедная его партнерша, явно готовая провалиться сквозь пол от стыда, беспомощно смотрит на него, не решаясь тронуться с места. А благодушные немцы, попивая пиво, качают головами, посмеиваясь над verriicktem Herr Professor'ом[1] и даже иногда поощрительно аплодируют ему.

Сегодня – совсем особенный день. Сегодня мой первый бал. Первый настоящий бал, на который я поеду.

---

[1] сумасшедшим профессором (нем).

Ведь в Петербурге я ходила пешком на балы – в валенках, проваливаясь по колени в снежных сугробах, держа в руках мешок с моими летними туфлями бальных у меня там, конечно, не было, как и собственного бального платья – я ограничивалась платьями моей покойной матери, правда парижскими, наскоро подшитыми и неумело суженными мною самой. А тут я впервые еду на бал – в специально сшитом для этого случая белом шелковом платье с большим вырезом, широченной юбкой и туго-натуго перехваченной талией, причесанная парикмахером по-бальному, с тюлевым бантом в волосах, в парчевых бальных туфельках. Еду, правда, не в карете, а в такси, на котором заедут за мной Николай Оцуп и мой петербургский знакомый Борис Башкиров, «полупоэт», как мы называем «пишущих стихи без достаточных на то оснований».

Еду, тоже как полагается, слегка взволнованная, в самом праздничном настроении – ведь первый бал своего рода событие в молодой жизни, и, хотя я уже два года жена Георгия Иванова, я чувствую себя почти дебютанткой.

И вот я на балу. И меня тут сразу охватывает разочарование. Нет, опять «все не то и не так». Наши балы в Петербурге были совсем другие – в них было что-то великодержавное, какое-то трагическое величие и великолепие.

В огромных колонных залах черно-мраморного особняка графа Зубова на Исаакиевской площади, нетопленных и тускло освещенных, мы, щелкая от холода зубами, танцевали и веселились до упаду, до головокружения. Помню, на одном из этих балов, зимой 1920 года, кто-то из присутствующих долго добивался у всех – где здесь можно раздобыть вино? И на ответ, что здесь никакого вина нет и не было, недоуменно развел руками, указывая на меня:

– А где же тогда эта девушка клюкнула? Ведь без вина такой веселой не будешь!

А здесь все мелко и плоско, на всем какой-то налет мелкобуржуазности, мелкотравчатости. Все очень прилично и чинно, и должно, казалось бы, нравиться – и оркестр, и сияющие люстры, как в зеркале отражающиеся в навощенном паркете, и кусты цветов в кадках, и буфет в глубине зала с батареей бутылок, тортами, пирожными и сандвичами. А вот мне не нравится, совсем не нравится. Я, оглядевшись, даже начинаю испытывать мне мало знакомую скуку.

Но, хотя бал и не оправдал моих надежд, чувство разочарования и скуки растаяло, как только я начала танцевать, и мне снова стало весело. Не так, как там, но все же весело. Я даже нахожу, что здесь забавно. Конечно, хуже, чем в Петербурге, но по-своему, по-берлински, – хорошо.

А меня, я это сознаю, просто грызет тоска по родине. Отсюда и мое недовольство всем и вся.

Здесь много знакомых петербуржцев, много писателей и поэтов, мне известных только по именам. Оцуп, приехавший в Германию раньше меня, знакомит меня с ними – с А. Толстым, с Минским, с Эренбургом.

В перерыве между двумя танцами ко мне подходит Башкиров.

– Здесь Игорь Северянин. Хотите познакомиться с ним?

– Игорь Северянин? Хочу! Очень хочу! Покажите, где он. Я его никогда не видала. Даже на фотографии. Где он?

– Вон там, в углу за третьим столиком, – указывает мне Башкиров, – со своей женой-принцессой, как он ее называет, хотя эта чухоночка совсем и не похожа на принцессу. Видите?

За третьим столиком действительно сидит скромная молодая женщина, вовсе не похожая на принцессу, в темном платье с длинными рукавами, просто, по-домашнему причесанная и даже не напудренная – нос ее предательски поблескивает. Рядом с ней долговязый брюнет в длиннополом старомодном сюртуке. Черты его большого лица так неподвижны, что кажутся вырезанными из дерева. Он держится прямо, высокомерно закинув голову. Весь он какой-то чопорный, накрахмаленный, как его непомерно высокий, подпирающий подбородок воротник. Таких не только в Берлине, но и в Петербурге уже не носят.

Он сидит молча, с напряженно-беспокойным видом путешественника, ждущего на вокзале пересадки, и явно чувствует себя здесь совсем не на своем месте. Никто не обращает на него внимания. Никто как будто не знает, кто он.

Неужели это на самом деле Игорь Северянин? Тот самый «гений Игорь Северянин», гордо провозгласивший о себе:

Я покорил литературу,
Взорлил гремящий
на престол?

Нет, совсем не таким я представляла себе «принца фиалок».

– Я пойду, скажу ему. Подождите тут. Я сейчас приведу его.

Башкиров отправляется за Северяниным, а я стою у стены и жду.

Я вижу, как Башкиров, подойдя к Северянину, что-то говорит ему и тот отрицательно качает головой, не двигаясь с места.

Башкиров возвращается ко мне, смущенный и растерянный.

– Представьте себе, он заявил, что привык, чтобы женщины сами представлялись ему, а он ходить знакомиться с женщинами не согласен. Ни в коем случае!

– Вот какой важный! Ну и Бог с ним. Обойдусь без знакомства с гением Игорем Северяниным.

И я, даже не взглянув в его сторону, иду танцевать с пригласившим меня очередным партнером. Я танцую и больше не думаю о Северянине до самого конца бала, когда передо мной, уже уезжающей, в холле неожиданно появляется он сам в сопровождении Башкирова.

Я хочу пройти мимо, но он загораживает мне дорогу. Башкиров торжественно представляет его мне. Северянин кланяется, и я подаю ему руку. Он целует ее с таким видом, будто этим оказывает мне величайшую милость. Должно быть, по его понятиям, не он женщине, а она ему должна целовать руку.

– Вы уже уезжаете? А мне хотелось бы поговорить с вами. Не согласитесь ли вы, повременив с отъездом, посидеть со мной за моим столиком, – и подчеркнуто добавляет, – очень прошу!

– Нет, спасибо, – говорю я. – Мне пора домой – я устала.

Мой отказ, видимо, удивляет его, тень недовольства ложится на его лицо.

– Не желаете? А я хотел поговорить, познакомиться с вами по-настоящему, – и уже с обидой, – впрочем, не в моих правилах навязываться женщинам – уезжайте себе с Богом!

– Нет, нет, – вмешивается Башкиров, – этого так никак нельзя оставить. Можно организовать встречу, – он просительно оборачивается ко мне, – у вас. Завтра или послезавтра? Чудесно получится!

– Ничего против такого проекта не имею, – важно заявляет Северянин.

– Вот и отлично, – обрадовано вскрикивает Башкиров. Мне ничего не остается, как согласиться: – Если вы свободны, Игорь Васильевич, приходите ко мне послезавтра, во вторник, чай пить – со своей женой, в четыре часа.

Лицо его светлеет – ему, по-видимому, приятно и мое приглашение, и то, что мне известно его имя, отчество. – Почту за честь... Он снова величаво целует мою руку.

– Я заеду за вами, – обещает ему Башкиров, – отвезу вас! Ждите!

И я, кивнув Северянину на прощание: «Так до вторника, Игорь Васильевич!» – спускаюсь по лестнице к выходу.

Во вторник я, накупив печений и пирожных к чаю, жду с четырех часов Игоря Северянина и его жену. Жду с нетерпением.

Я сегодня иду обедать к немецким друзьям моего отца. Мне надо успеть переодеться перед тем, как ехать к ним.

Но вот уже шесть часов, а их все нет. Я начинаю нервничать. Если они опоздают еще на полчаса, я не смогу их принять. Опаздывать на немецкий званый, чинный обед совершенно невозможно. Меня больше никогда не пригласят и сочтут варваркой, с которой надо раззнакомиться.

В четверть седьмого они, наконец, появляются. Северянин входит с папиросой в зубах, за ним перекошенный от волнения Башкиров и не менее взволнованная «принцесса».

Я, скрывая свое недовольство, любезно здороваюсь с ними и, не дожидаясь объяснений, отчего они так опоздали, предупреждаю их, что, к моему большому

сожалению, мне самой придется уехать через полчаса. Но чай мы все же успеем выпить.

– Садитесь, пожалуйста!

«Принцесса» робко садится на край стула. Северянин, продолжая стоять, скептически осматривает стол.

– А вино? Вино у вас есть? – резко спрашивает он.

– Вина у меня нет, – говорю я.

– Чая не пью, – отчеканивает он. – Пошлите за вином! На мой счет!

Я удивленно оборачиваюсь к растерянному Башкирову. Он торопливо и сбивчиво объясняет, что Северянин по дороге ко мне заходил в разные кафе и бары подкрепиться – для храбрости, для вдохновения.

– И вот... Ради Бога не сердитесь. Простите. Поймите... Нет, я не сержусь. Я пододвигаю пирожные «принцессе», и она испуганно кладет одно из них на свою тарелку, но прикоснуться к нему или к чаю, принесенному ей горничной, не решается. – Едем в ресторан! – требует Северянин. – Едем! Что тут сидеть и киснуть? Скучища!

Тут сидеть ему действительно ни к чему. Я шепчу Башкирову:

– Уведите его скорее!

Башкиров берет его под руку.

– Правильно, едем в ресторан! Едем! – и ведет его к двери.

«Принцесса», красная от стыда, встает, протягивает мне руку лодочкой и шепчет:

– Простите, ах, пожалуйста, простите!

Северянин останавливается на пороге и поворачивается ко мне.

I – А вы? Одевайтесь скорее! Я без вас не уйду. Без Одо-евце-вой не уйду! Живо! Не копайтесь!

Башкиров тащит его.

– Одоевцева придет прямо в ресторан. Честное слово, придет! Через пять минут придет, – уверяет Башкиров.

– Только не копайтесь, – снова повелительно кидает мне Северянин. – Без проволочек! Терпеть не могу ждать! – и наконец дает себя увести.

«Принцесса» чуть ли не плача уходит с ними.

– Простите. Ради Бога простите! – все повторяет она.

Я запираю за ними входную дверь и облегченно вздыхаю. Слава Богу, ушел! Ведь он мог начать бить посуду, скандалить. А так все обошлось благополучно. Впрочем, не совсем. Спускаясь по лестнице, он звонил во все квартиры.

«С ним все навсегда кончено! Больше я никогда не встречусь с ним, никогда!» – решаю я и бегу переодеваться.

На следующее утро ко мне является Башкиров с просьбой понять простить: «Северянин в отчаянии. Всю ночь не спал. Он мечтал очаровать вас, как своих бесчисленных поклонниц когда-то, и, для вдохновения, по дороге к вам...»

– Я совсем не сержусь, – прерываю я его. – Передайте ему – понимаю и прощаю. Но видеть его больше не хочу. Никогда!

Башкиров театральным жестом хватается за голову. – Это кошмар! Катастрофа! Ведь он хочет прийти сегодня же к вам. Вы не можете быть такой жестокой.

– Перестаньте. Никакого кошмара, никакой катастрофы. Скажите ему, что я желаю ему и его эстоночке всего хорошего и кланяюсь ему. Пусть не огорчается. А вы перестаньте приставать ко мне, не то я действительно рассержусь, и не только на него, но и на вас, и вас тоже не пожелаю видеть.

Прошло несколько дней, полных разнообразных впечатлений – ведь тут, в Берлине, «ощущения бытия» не похожи на прежние, петербургские. Занятая этими, новыми для меня «ощущениями», я совсем не думала о Северянине, Башкиров тоже остерегался напоминать мне о нем.

Я сижу у себя и читаю, когда горничная в белом передничке – здесь они еще не перевелись – докладывает мне, что меня спрашивает какой-то господин. Нет, фамилии своей он не назвал.

Я удивлена. Я никого не жду. Мои друзья и знакомые просто – без доклада – проходят прямо ко мне. Кто бы это мог быть?

Я выхожу в прихожую. У окна стоит Северянин в пальто, со шляпой в руке. Увидя меня, он весь дернулся и ринулся ко мне так стремительно, что я отступаю на шаг.

– Вы не выгоните меня? Я уезжаю завтра, но я не могу уехать, если вы не простите меня. Не могу... – он очень бледен, голос его дрожит: – Поймите, как для меня это ужасно. Дожить еще и до того, что женщина отказалась меня принять!

Я протягиваю ему руку.

– Успокойтесь, и раз вы пришли – оставайтесь. Пойдем ко мне.

– Не выгоните? Правда?..

Я иду по коридору, он за мной. У себя я сажусь на диван и указываю ему место рядом с собой, но он остается стоять, даже не сняв пальто.

– Снимите пальто и садитесь, – говорю я. Он стоит передо мной, долговязый, застенчивый, в полной растерянности.

– Я только на минутку, не задержу вас. Но если позволите... – и он, сняв пальто, садится не рядом со мной и не в кресло, а на стул. Так робко, что я не узнаю

в нем того «бального», надутого, высокомерного, накрахмаленного Северянина.

– Мне было необходимо видеть вас, я бы просто не мог...

Не мог? Чего бы он не мог? Но я не спрашиваю.

А он, будто убедившись, что теперь я пойму его, продолжает торопливо:

– Я очень, я страшно несчастен. Вы себе и представить не можете, до чего! И вот то, что со мной, которому женщины поклонялись как Богу, могло случиться такое, меня просто доконало, помните рассказ Чехова? Бедная девушка, совсем бедная, полуголодная, целый день бегала по объявлениям в поисках работы, изнемогая от усталости, и вот вечером в какой-то конторе швейцар не впустил ее и, так как она все же хотела войти, толкнул ее в грудь: «Место уже занято! Говорят вам, занято!» Не грубо, совсем легко толкнул, а она повернулась, добежала до моста и бросилась с него в Неву! Все могла перенести, а это ее доконало. Как ваш отказ принять меня.

– Но ведь я ничем не обидела вас, – протестую я, краснея, – право, ничем. Я боюсь пьяных. Я боялась скандала.

– Да, да. Вы не могли иначе поступить. А обо мне вы не подумали. До меня вам никакого дела не было.

Я сознаю, что он прав. Мне действительно не было дела до него. А сейчас... Сейчас есть. И еще какое! Мне его очень жаль. Мне хочется утешить его. Но чем?

И я говорю наобум первое, что мне приходит в голову; – Я никогда не была на ваших поэзовечерах, но знаю, что у вас был невероятный, небывалый успех, и я... Он не дает мне закончить:

– Да, да. Небывалый, громокипящий успех. Уличное движение останавливали, когда я выступал в зале под Думской каланчой. А в Керчи, в Симферополе, на

Волге лошадей распрягали, и поклонники на себе везли меня, триумфатора! Страшно вспомнить, какое великолепие! Купчихи бросали к моим ногам на эстраду бриллиантовые браслеты, серьги, брошки...

Он весь преображается, голос его звенит. – До чего чудесно было! Сказка из «Тысячи и одной ночи». Даже еще чудесней! Сологуб возил меня по всей России, и всюду вечный праздник, беззакатное торжество! На меня, как из рога изобилия, сыпались цветы, слава, влюбленные женщины... И деньги! Сколько денег! Просто золотой дождь!

Он мечтательно закрывает глаза и улыбается. Я впервые вижу его улыбку и на балу, и в злосчастный вечер его прихода ко мне у него было самоуверенное, злое, почти наглое лицо, а теперь его улыбка придает ему что-то беззащитное, наивное, почти детское.

– Если бы я тогда копил деньги, я бы и сейчас был богатым человеком. Но я деньги безрассудно отдавал другим, себе брал только славу. Но и она оказалась, как все в моей жизни, чертовыми черепками. Все обмануло, все погибло – все!..

Он тяжело вздыхает.

За окном ранние зимние сумерки. В комнате полутемно. Я протягиваю руку к выключателю.

– Нет, нет – не надо. Не зажигайте, – просит он, – так мне легче говорить. Сумерки создают особое настроение.

Да, настроение действительно особенное. Совсем не то, что я ждала, когда почти против собственной воли впускала его к себе.

Мне вдруг начинает казаться, что время покатилось назад, мы с ним сидим не в берлинском пансионе, а у меня, на Бассейной, 60, в Петербурге, и я с жадной, молодой любознательностью слушаю его, как когда-то

слушала Гумилева, стараясь запомнить каждое его слово. А он говорит:

– Подумать страшно, – я живу нахлебником у простого эстонца-мыйжника. Только оттого, что женился на его дочери. Я для него не знаменитый поэт, а барин, дворянин, сын офицера. За это он меня и кормит. Ему лестно. А я ловлю рыбу. И читаю свои стихи речным камышам и водяным лилиям – ненюфарам. Больше ведь некому. Кругом глушь, мужичье. Ночью я часто сажусь в лодку и выезжаю на середину реки. Звезды отражаются в воде, камыши так ритмично, так мелодично шуршат, как аккомпанемент моим стихам. Я читаю и сам слушаю свой голос и плачу. Мне начинает казаться, что я не читаю, а только слушаю то, что поют «хоры стройные светил». И тогда почти смиряется души моей тревога...

Он неожиданно обрывает и будто спохватившись:

– Простите. Я как лягушка бесстыдно расквакался. Я, должно быть, кажусь вам жалким презренным паяцем. Но если бы вы знали, как я измолчался, как мне необходимо говорить... Вам правда не надоело меня слушать? Мне сейчас хочется говорить. Говорить без конца. Я изголодался по слушателю. До чего изголодался! Вам не скучно?.. Действительно не скучно?..

– Нет, нет. Напротив, – уверяю я его, – продолжайте, пожалуйста.

– А о детстве можно? – робко осведомляется он.

– О чем хотите. Мне все интересно.

И это правда.

– Раз уж вы согласны слушать, то и пеняйте сами на себя. И он начинает рассказ о своем детстве. Очень счастливом, «золотом детстве» – зимой в Петербурге, летом в имении, и о катастрофе, завершившей его. В катастрофе я не совсем разобралась, не все в ней поняла, но переспрашивать его я не решаюсь. Не ручаюсь,

что это все так именно и было. По его словам, его мать, молодая жена старого генерала, очень рано овдовела. Генерал – ревнивый старик – оставил завещание, по которому все его большое состояние, в случае, если его вдова снова выйдет замуж, переходит их маленькой дочери, а в случае ее смерти – родственникам генерала.

– Что же, погоревала она немного, как полагается, но, конечно, захотелось ей любви. Вот и решила она выйти замуж за поручика, давнишнего ее молодого поклонника, постоянно бывавшего еще при муже-генерале в их доме. Девочка была к нему сильно привязана, и он к ней. Все было как нельзя лучше. Все любили друг друга и были счастливы. О завещании и не вспомнили – дочка обожала мать и считала ее, а не себя хозяйкой петербургского дома, имения и денег. Так прошло несколько счастливых лет, во время которых, к общей радости, и я успел родиться. Девочка была уже подростком. И вдруг она заболевает менингитом и умирает в три дня. Мать чуть не помешалась от горя. Но тут на нас обрушился новый удар – нотариус объявил ей, что она должна покинуть свою квартиру, так как и дом, и имение, и капитал принадлежали дочери и переходят к родственникам генерала. Так моя мать все сразу и потеряла, и настало бедственное существование на жалкие гроши жалования поручика Лотарева. Родственники покойного генерала обобрали ее до ниточки.

Северянин тяжело вздыхает.

– Да, много горя мы тогда с мамашей хлебнули. Пожалуй, не меньше, чем я теперь. Постыдное, тяжелое начало жизни. Постыдный, тяжелый конец. Сколько страданий и унижений. От них вся душа в ссадинах, синяках и кровоподтеках. Судьба тогда била и теперь бьет меня в морду, как в бубен, и не только в морду, но

и в душу. А ведь душа у меня гордячка, неженка, небожительница. Каково ей? Понимаете ли вы?

Да, понимаю. Понимаю и сочувствую. Молча. Что уж тут скажешь? И он, не дождавшись моего ответа, продолжает:

– Я приехал сюда в надежде переиздать мои книги. Но куда там! И слышать не хотят, а всякую бездарь и шваль печатают. Объяснили: вы больше никому не нужны и не интересны. В альманах «Окно» меня не пустили. Устроить мой вечер и то не удалось – Союз писателей отказал наотрез. При встречах притворяются, что не узнают меня. А мерзавец Толстой в ресторане «Медведь», хлопнув меня по плечу, заголосил, передразнивая меня: «Тогда ваш нежный, ваш единственный, я поведу вас на Берлин!» – расхохотался идиотски во всю глотку и гаркнул на весь ресторан:

– Молодец вы, Северянин! Не обманули! Сдержали слово – привели нас, как обещали, в Берлин. Спасибо вам, наш нежный, наш единственный! Спасибо!

И низко, в пояс поклонился. Это случилось в тот самый день, когда я к вам пришел пьяный. С горя напился. С горя пью. Вам этого, конечно, не понять.

Не понять? Нет, я прекрасно понимаю. Мне его страшно, до боли жаль. Не надо, чтобы он говорил об этом, и я перебиваю его:

– Игорь Васильевич, я никогда не слышала, как вы читаете свои стихи. Если вы не торопитесь, почитайте мне, пожалуйста. Он поспешно встает со стула.

– Неужели не слыхали?.. С огромной радостью... Сколько хотите... Сколько хотите!

В комнате почти темно, но ведь он просил не зажигать. Я вижу, как блестят его глаза. Теперь он кажется почти красивым. И какое у него вдохновенное лицо.

– Что вам прочесть? – спрашивает он взволнованно. Мне совершенно безразлично что, и мне совсем не

хочется слушать его поэзы, но я говорю: «Это было у моря».

И он, скрестив по-наполеоновски руки на груди и закинув голову, уже начинает запевать на знакомый мне мотив – Георгий Иванов отлично имитировал его пение-декламацию, уверяя, что оно как гипноз действует на слушательниц и доводит их до беспамятства:

Это было у моря, где ажурная пена,
Где встречается редко городской экипаж.
Королева играла в башне замка Шопена
И, внимая Шопену, полюбил ее паж...

Закончив, он без паузы переходит ко второму стихотворению, уже не спрашивая, что я предпочитаю, потом к третьему, к четвертому и так далее и так далее. Я теряю счет им. Тут и

В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом
По аллее олуненной вы проходите морево...

и

...Когда вуалится фиоль,
Офлеря ручеек,
Берет Грасильза канифоль
И скрипку и смычок...

и

О милая, как я печалюсь, о милая, как я тоскую.
Мне хочется тебя увидеть печальную и голубую...

и

Ты ко мне не вернешься даже ради Тамары,
Ради нашей дочурки, крошки вроде кроля...

Нашей дочурки? Разве у него была дочь? Мне хочется его спросить, но я не решаюсь прервать его. Он с таким упоением, так самозабвенно распевает. Он как будто впал в транс. Прервать его – все равно что разбудить лунатика. Я продолжаю слушать эти знакомые мне с детства поэзы, над «фантастической безвкусицей, безграничной пошлостью и лакейски-приказчичьими изысками и новаторством» которых Гумилев и все мы привыкли издеваться. Но сейчас они кажутся мне совсем иными. Я как будто впервые слышу их, и они очаровывают меня. Пошлость, вульгарность, изыски? Да, конечно. Но это все наносное, несущественное. В этих, пусть смехотворных, стихах явно слышатся, несмотря ни на что, «вздохи муз, и звоны лиры, и отголоски ангельского пения». В них высокая, подлинная поэзия. И сейчас я в этом не сомневаюсь – Северянин настоящий поэт. Прав был Сологуб, прославлявший его, «большого русского поэта». Да, я сейчас впервые понимаю это.

Я все сильнее подпадаю под власть его необычайного чтения – пения, «гипнотически» действующего и на меня. Я закрываю глаза, я тону, я иду на дно этого искрометного громокипящего водоворота поэзии.

О, только бы слушать его, только бы он не замолкал. Я смутно сознаю, что завтра «в трезвом, беспощадном свете дня» я с удивлением вспомню то, что чувствую сейчас, и мне снова будет ясно, что Гумилев был прав в своем строгом суде над Северяниным. Но сегодня я покорена, я очарована, я «осеверянина». О, только бы слушать его еще и еще.

Стук в дверь.

– Вас просят к телефону! Я вскакиваю с дивана, мигая от вдруг вспыхнувшего электрического света, – кто зажег его, я или он? – и бегу в прихожую. Когда я возвращаюсь, он уже в пальто и встречает меня с озабоченным видом.

– Простите, я безбожно заболтался и задержал вас. Ведь уже семь часов.

– Да, а в половине седьмого я должна была быть у моих друзей. Они ждут меня. Но я не жалею. Напротив. Я очень рада, что...

Он перебивает меня.

– Вы тем, что приняли и выслушали меня, сделали мне неоценимый подарок. Я никогда не забуду. Теперь я могу почти спокойно уехать.

– Приезжайте снова в Берлин поскорее.

Он качает головой.

– Вряд ли я еще раз выберусь из своей дыры. Наверно, так и умру в ней. Это была моя последняя попытка выкарабкаться из нее. И как она скверно обернулась. Вы единственное светлое пятно в ней.

Я иду в прихожую провожать его. Мне хотелось бы сказать ему так много, но я не нахожу нужных слов.

– Счастливого пути, – говорю только. – И будьте счастливы, Игорь Васильевич.

Он пожимает плечами.

– Ну нет, желать мне счастливого пути все равно что желать счастливого пути тому, кого ведут вешать. А вот вам можно пожелать счастья – оно вам к лицу, как ваш бабочка-бант, – и прибавляет деловито: – писем вам писать не буду. Не ждите. И мне не пишите. Ни к чему это – раз больше мы никогда не встретимся.

– Кто знает. А мне кажется, непременно встретимся.

Но он качает головой.

– Nevermore! как говорил ворон По. Nevermore! – грустно повторяет он, целуя мою руку на прощанье. И вот он уходит. Дверь медленно и бесшумно закрывается.

Я стою одна в прихожей, не двигаясь с места, забыв, что мне надо торопиться – ведь меня ждут, но вместо

того чтобы надеть пальто, я снимаю телефонную трубку и вызываю нужный мне номер.

– Не ждите меня, – говорю я, – у меня вдруг заболела голова и горло. Боюсь, что я простудилась. Нет, нет, ничего серьезного. Приезжать не надо. К утру все пройдет. Отправляйтесь без меня в «Аллаверды». И веселитесь. А я сейчас лягу. Завтра позвоню.

Я иду к себе, чувствуя непонятную тревогу и тоску. Что это со мной? Неужели я действительно расхвораюсь? Ведь у меня ничего не болит, и ничего скверного со мной не случилось. Так отчего мне так тяжело? Так грустно?

Я ложусь не раздеваясь на постель, прислушиваясь к тишине, стараюсь успокоиться. И вдруг начинаю плакать. О чем? Ведь у меня нет никакого горя. Все хорошо. Все очень хорошо. Но слезы все сильнее текут по моим щекам, и я не могу их удержать.

О Господи. До чего мне грустно! Как жестока жизнь! Как несчастны люди! Особенно поэты. Бедный, бедный Игорь Северянин!

– Nevermore! Мы никогда больше не увидимся, – сказал мне, прощаясь со мной в январе 1923 года в Берлине, Игорь Северянин.

И мы действительно никогда больше не увиделись. Но слышать о нем мне все же еще пришлось.

– Однажды в гостеприимном доме Мильруда, редактора рижской газеты «Сегодня», за литературным завтраком, что не мешало ему быть очень вкусным, на нем присутствовал, как всегда, кроме нескольких членов редакции, и Петр Нильский, – я выразила удивление, что никогда не вижу в «Сегодня» стихов Северянина.

– Разве он перестал писать стихи?

Мильруд с притворным отчаянием схватился за голову.

– Ах, не вспоминайте о нем! Какое там перестал – просто закидывает меня стихами и требованиями, чтобы они безотлагательно появлялись. Много он мне крови испортил, пока меня не осенило чисто соломоново решение – платить ему ежемесячно пенсию за молчание. С предупреждением – пришлите хоть одно стихотворение – тут и каюк! Конец пенсии. И он, слава Богу, внял голосу благоразумия.

Меня это ошарашило, я просто задыхалась от возмущения.

– Но ведь это бесчеловечно, чудовищно! Как вы, такой добрый, могли быть таким зверски жестоким?

Мильруд пожимает плечами.

– Посидели бы вы в моей шкуре директора – иначе заговорили бы. Не только не бесчеловечно и жестоко, а гуманно и доброжелательно. Так у него и правда, не на ананасы и шампанское, а на табачок и водочку хватает. Чего ему еще? Ведь он живет даром у своего тестя – мыйжника. Конечно, ему было бы лучше не задерживаться на земле и на крылатой яхте пристать к ледяной луне...

– Где, – прерывает его Георгий Иванов и поет (подражая Северянину) – «на луне все любезны оттого, что все немы». Вот вы и стараетесь помочь ему онеметь и стать любезным. Дело доброе! Все, кроме меня, смеются.

– Да, страшное дело для поэта пережить себя, умереть при жизни, – провозглашает Пильский.

Георгий Иванов насмешливо щурится:

– А по моему скромному мнению, и в обыкновенной смерти мало приятного. Я бы, пожалуй, согласился умереть как поэт, чтобы продолжать как человек жить до ста лет – с табачком и водочкой, разумеется.

– Ну, вам-то, Георгий Владимирович, трудно судить, как чувствует себя поэт, которого перестали печа-

тать, – вы во всех редакциях желаннейший гость. Каждому воздается по делам его, – сентенциозно заявляет Пильский. – Если бы Северянин так пошло, безвкусно не кривлялся в своих поэзах, и его бы печатали. А то у него нет ни одного сносного стихотворения – сплошное оголтелое издевательство над русским языком, паясничество и непонятность. Но тут уж я не выдерживаю и протестую. – Нет, у него много прелестных, совсем простых стихов. Хотя бы вот это:

– Все по-старому... – сказала нежно
Все по-старому...
Но смотрел я в очи безнадежно
Все по-старому...
Улыбалась, мягко целовала
Все по-старому...
Но чего-то все недоставало
Все по-старому!..

Или еще более очаровательное и грациозное:

Она на пальчиках привстала
И подарила губы мне.
Я целовал ее устало
В сырой осенней тишине.
И слезы капали беззвучно
В сырой осенней тишине.
Гас скучный день, и было скучно
Как все, что только не во сне.

Мне очень нравится, а вам? Так просто, так все ясно. Ну что, скажите, здесь непонятного?

Пильский кивает.

– Недурно, хотя мне не очень нравится. Но тут все понятно. Только нельзя рифмовать «беззвучно» и «скучно». Ведь надо произносить «скушно». Это всем известно, – безапелляционно заявляет Пильский.

Но Георгий Иванов не согласен.

– Нет, простите, это в Москве говорили «скушно», а у нас в Петербурге «скучно». Тогда следует говорить и «я скушаю» вместо «я скучаю». Где это видано, чтобы «ч» переходило в «ш»?

И вот уже готов загореться один из обычных эмигрантских споров о том, как надо говорить, и о произношении. Но я стараюсь не дать ему разгореться. Я говорю Мильруду:

– Я не могу успокоиться. Вы не только обидели бедного Северянина вашей «пенсией за молчание», вы его прямо зарезали. Подумайте, как вы его унизили, его, «победившего» – по его мнению – литературу. Его, которому поклонялись и кому не только грубого слова, но даже косого взгляда не приходилось...

Но тут меня неожиданно и решительно перебивает один из «первоприющей тройки», как мы с Георгием Ивановым прозвали трех немолодых «молчальников», неизменно присутствующих на завтраках у Мильруда. Я с ними, конечно, знакома и даже знаю, что они занимают какие-то немаловажные должности в редакции. Но за столом они никак не проявляют себя, никогда не вступают в разговоры и присутствуют здесь скорее как античный хор, правда, молчаливый.

Выступление одного из них удивляет всех, даже неизменно равнодушно-любезно улыбающаяся хозяйка дома с любопытством и выжидательно смотрит на него.

А он, не смущаясь вызванным им общим интересом, говорит:

– Ну уж позвольте, позвольте! Это не совсем верно. Не совсем так. Даже совсем не так.

Я нетерпеливо пожимаю плечами. Сейчас он начнет методично доказывать, что квалифицированная критика не признавала Северянина, что славу ему со-

здали истерички – курсистки и восторженные юнцы, а серьезные читатели издевались над ним и его поэзами.

Да, да. Конечно. Петр Пильский мог бы изложить эти общеизвестные истины гораздо лучше, чем совсем не кстати заговоривший «молчальник». Заведет он теперь шарманку на битый час, а я слушай. Хотя это мне и очень скучно в квадрате – с московским и с петербургским произношением.

Но услышать мне пришлось совсем не то, что я ожидала...

Поклон в мою сторону, и он говорит:

– Нет, позвольте, насчет того, что никто так уж не смел косо взглянуть, не совсем правильно. Даже очень смел, и грубых слов «принцу фиалок» пришлось немало наслушаться. Я это достоверно знаю от моего приятеля, капитана полка, в который был направлен Северянин, с хохотом рассказывавшего мне о новобранце Лотареве-Северянине, бывшем посмешищем полка. Не поддавался никакой муштровке. Фельдфебель из сил выбивался, никак не мог заставить его не поворачиваться налево при команде направо, до хрипоты орал на него, разбивавшего весь строй: «Эй ты, деревня! Куда гнешь опять? Сено-солому тебе, что ли, к сапогам привязать надо? А еще образованный!» Целый месяц с ним возился безуспешно. В конце концов определили его в санитары на самую черную работу – по уборке и мытью полов – на другую у него способностей и смекалки не хватало. Я специально ездил к моему приятелю в полк полюбоваться на «принца фиалок» с ночной посудиной в руках. Презанимательное было зрелище, смею вас уверить!

Все, исключая меня, смеются. Пильский от смеха чуть даже не поперхнулся. Но громче всех смеется Мильруд:

– «Эй ты, деревня! А еще образованный!» Я даже не знал, что его призывали.

– Нет, Михаил Семенович, я знал, но о его блестящей военной карьере мне ничего не было известно, кроме того, что он обещал «тогда ваш нежный, ваш единственный, я поведу вас на Берлин». Он считал, должно быть, что у него для похода на Берлин вполне достаточная военная подготовка, – спокойно замечает Георгий Иванов.

Новый взрыв смеха. Смеются все. Но мне совсем не смешно. Мне больно, мне обидно за бедного Северянина.

Но тут «молчальник», явно ободренный шумным успехом своего выступления, обращается уже не ко мне, а к Георгию Иванову:

– Если не ошибаюсь, вы изволили начинать свою поэтическую карьеру эгофутуристом? С Северяниным?

Георгий Иванов кивает:

– Как же. Даже в директорате эгофутуристов состоял вместе с сыном Фофанова Константином Олимповым и Граалем Арельским при самом Северянине. Мы действовали решительно, выпустили манифест эгофутуризма и подготовляли эгофутуристическую революцию. Но все это длилось недолго. Меня сразу же после выхода моего «Отплытия на остров Цитеру» приняли в Цех. И я покинул Северянина. С большим сожалением. Я во что бы то ни стало хотел, чтобы и Северянин стал членом Цеха. И даже уговорил Гумилева позволить мне привести Северянина на заседание Цеха и баллотироваться.

И вот уже Георгий Иванов рассказывает так, как кроме него никто рассказывать не умеет, о единственном посещении Северяниным Цеха поэтов. И все с интересом слушают. По дороге в Цех Северянин, свежевыбритый, напудренный, тщательно причесан-

ный, в лучшем своем костюме и новом галстуке, сильно волновался и все повторял, что едет в Цех только для того, чтобы увидеть эту бездарь in corpore[2] и показать им себя настоящего гения.

Гумилев, синдик Цеха поэтов, принял его со свойственным ему высокомерием и важной снисходительностью и слушал его стихи холодно и строго. Северянин начал читать их преувеличенно распевно, но под холодным, строгим взглядом Гумилева все больше терял самоуверенность. И вдруг Гумилев оживился:

– Как? Как? Повторите!

Северянин повторил:

И, пожалуйста, в соус
Положите анчоус.

– А где, скажите, вы такой удивительный соус ели? Северянин совершенно растерялся и покраснел:

– В буфете Царскосельского вокзала.

– Неужели? А мы там часто под утро, возвращаясь домой в Царское, едим яичницу из обрезков – коронное их блюдо. Я и не предполагал, что там готовят такие гастрономические изыски. Завтра же закажу ваш соус! Ну, прочтите еще что-нибудь!

Но от дальнейшего чтения стихов Северянин резко отказался и, не дожидаясь ни ужина, ни баллотировки, ушел.

– Ушел в ярости на Гумилева. И, конечно, на меня. Впрочем, его все равно «прокатили бы на вороных». Цеху он совсем не подходил, только мне по молодости лет могла прийти в голову такая нелепая мысль. Но я был очень привязан к нему и очень огорчен.

---

[2] вместе (лат.)

– Разве он был симпатичный? – спрашивает хозяйка дома. – А правда, что в него женщины влюблялись дюжинами?

– Дюжинами, сотнями, тысячами, куда ни приедет, – вместо Георгия Иванова отвечает Пильский. – Хвостом за ним ходили. Ночевали под окнами его дома.

– А правда, что он бессребреник? Что он не считая раздавал деньги направо и налево? – спрашивает «молчальник».

– А правда, что у него был сумасшедший успех? Что распрягали лошадей?.. Что его забрасывали цветами? Вопросы сыплются один за другим.

Я с удивлением слушаю. Неужели здесь, за этим столом только что так зло издевались над бедным Северяниным, а теперь с таким интересом расспрашивают о нем, о его внешности, о его романах, о его характере, вкусах и настроениях. Георгий Иванов отвечает на все вопросы.

– А правда, что Северянина прославил Толстой? – спрашивает принимающая деятельное участие в расспросах хозяйка дома.

Георгий Иванов пожимает плечами:

– «Прославил» тут не то слово. Но славу он Северянину действительно подарил. Правда, против воли, желая его уничтожить, с позором выгнать из русской поэзии. Вот как это было. Толстой, допустив – после долгих просьб пред свои очи «представителя прессы», с возмущением и гадливостью процитировал прочитанные им в каком-то журнале строки Северянина:

Воткните штопор
в упругость пробки,
И взоры женщин не будут
робки...

и

Ананасы в шампанском,
ананасы в шампанском...
Весь я в чем-то норвежском,
весь я в чем-то испанском...

«И такую гнусность смеют считать за стихи! – захлебывался от негодования Толстой. – До какого падения дошла русская поэзия!»

И так как он отнюдь не запретил распространять его мнение о Северянине, представитель прессы на следующий же день тиснул слова Толстого в «Новом времени», ошибочно полагая, что Толстой уничтожил Северянина, раздавил его как клопа. А на самом деле Толстой подарил Северянину славу – северя ни некие строки, процитированные «самим» Толстым, прогремели на всю Россию, ударили по сердцам тысяч читателей. Никакая восторженная статья не могла бы так вознести Северянина. С этого момента и пошла его всероссийская фантастическая слава.

– Впрочем, – заканчивает Георгий Иванов, – я не уверен, что это не апокриф. Я тогда еще не был знаком с Северяниным. При мне он никогда не вспоминал об этом. Он считал, что своей славой он обязан исключительно себе самому и с полной самоуверенностью заявил:

Я год тому сказал: я буду.
Год отсверкал.
И вот я есть!..

– Я – гений Игорь Северянин, своей победой упоен, – подхватывает Пильский и поднимает стакан. – Выпьем за Игоря Северянина! Может быть, еще и настанет его час. Как знать, кто в будущем станет знаменитым, а кто исчезнет без следа. Ведь современники Пушкина считали Бенедиктова равным ему...

– И, – перебивает Пильского Георгий Иванов, – кто мог думать, что Гумилев так посмертно прославится?

Пильский кивает.

– Давайте пошлем ему коллективное письмо с дружеским приветом.

– Что вы, что вы, Петр Моисеевич! – хватаясь за голову, вскрикивает Мильруд. – Угробить меня хотите? Ведь Северянин в ответ начнет забрасывать меня ворохами своих стихов, и тогда уже его никакими силами не уймешь.

Все, в том числе и я, смеются.

Пильский притворно-горестно вздыхает:

– Раз в жизни хотел доброе дело сделать – и то не удалось! Но вы, Михаил Семенович, пожалуй, правы, со своей точки зрения. Аннулирую свое предложение. Точка!

– А я, – торжественно провозглашает Георгий Иванов, – предлагаю тост за посмертную славу Игоря Северянина. Ведь, несмотря ни на что, он все-таки настоящий поэт, и будущие читатели, возможно, поймут это. И все чокаются и пьют за Северянина, как на поминках.

* * *

Я заканчиваю укладку чемоданов. Завтра утром я уезжаю в санаторий в Браунлаге, в Гарце.

Я уже провела в ней две недели перед Рождеством, бегала на лыжах, съезжала с гор на санках и даже побывала на Брокене, где чувствовала себя почти ведьмой.

В санатории жить приятно и весело. Я очень рада, что еду на целый месяц и хорошенько отдохну от беспрерывных берлинских развлечений.

Телефон на моем ночном столике звонит. Это Оцуп. Он зовет меня обедать. А после обеда танцевать.

Мы все очень часто танцуем во всяких «дилях» и дансингах. Оцуп даже возил меня в «Академию современного танца», где седовласый Андрей Белый, сосредоточенно нахмурив лоб и скосив глаза, старательно изучал шимми и тустеп, находя в этом, казалось бы, легкомысленном времяпрепровождении ему одному открывающиеся поля метафизики.

– Я уж собираюсь ложиться, – говорю я в телефонную трубку. – Я ведь завтра утром... Но он перебивает меня.

– Знаю, знаю. А пообедать все же совершенно необходимо. И проститься тоже необходимо, ведь – «Кто может знать при слове расставанье, какая нам разлука предстоит?» Танцы – те действительно лучше отложить до вашего возвращения. Я буду у вас через десять минут. Согласны?

И я соглашаюсь.

Оцуп появляется у меня ровно через десять минут – он, как всегда, удивительно точен.

Это совсем не тот Оцуп, что в Петербурге – в высоких ярко-желтых сапогах, с всегдашним большим портфелем под мышкой. От комиссарского вида и помина не осталось.

В Берлине он превратился в элегантного, преуспевающего в делах «шибера»[3]. Хотя у него с «шибером», как и с комиссаром, ничего общего нет. Он похож на картинку модного журнала в своем коротком пальто, в костюме оливкового цвета и остроносых, плоских башмаках, даже голос и манеры у него изменились. Только самодовольство все то же.

---

[3] спекулянт, от нем. Schieber

В Берлине ему живется «вольготно и привольно». Его брат, тот самый, что работал в Шведском Красном Кресте, и здесь отлично устроился и широко помогает ему.

– Такси ждет внизу, – сообщает он, наскоро поздоровавшись со мной.

И вот мы у Ферстера, в знаменитом русском ресторане тех баснословных лет, – месте встреч всех эмигрантов.

Тут, как всегда, шумно и многолюдно. Метрдотель ведет нас к свободному столику. Но мы не успеваем дойти до него.

От длинного стола, уставленного никелированными ведрами и бутылками, за ним явно «кутит», а не обедает голосистая компания, – вдруг, с треском отбросив и уронив стул, вскакивает светловолосый молодой человек, стриженный под скобку.

Он бросается к нам, хватает руку Оцупа и трясет ее.

– Оцуп! И вы тут! Вот здорово! – звонко приветствует он его. – Идем, идем скорей к нам. С девушкой вашей, идем!

Оцуп, несмотря на всю свою самоуверенность, совершенно теряется под этим бурным натиском.

– Здравствуйте, Сергей Александрович. Э... Э... Э... – тянет он, как всегда, в минуты сомнения и нерешительности. – Мы, собственно, хотели ...э ...э ...э... пообедать. – И уже овладев собой, более уверенно: – Рад вас видеть, Есенин!

Так вот это кто, – вот он какой, неистовый скандалист Есенин. И правда, какой он напористый, налетающий, как вихрь, как смерч. Попадись такому, голову оторвет!

Рука Есенина, выпустив руку Оцупа, описывает полукруг и властно берет меня за локоть:

– Идем!

И он, завладев моим локтем, уже ведет меня к своему столу. Оцуп идет за нами, невнятно бормоча не то протест, не то согласие.

Сидящие за столом с любопытством уставляются на нас с Оцупом.

– Будьте знакомы! – звонко выкрикивает Есенин: – Это Оцуп! Николай Оцуп, цеховщик и стихотворных дел мастер. – А эта девушка, – кивок светловолосой головы в мою сторону, – не знаю кто такая. Впервые вижу.

– Ирина Одоевцева! – вместо меня громко отвечает Оцуп.

Есенин широким взмахом руки указывает на всех сидящих за столом.

– А это моя кувырк-коллегия. Nomina sunt odiosa[4] Да настоящих имен среди них еще и нет. Но со временем, как нас учили, все они – так или иначе – прославятся. В разных областях, конечно, кто в литературной, а кто в уголовной.

Он садится на кем-то услужливо пододвинутый ему стул и приказывает своему соседу:

– Сократись! Уступи место Ирине Одоевцевой! А вы, Оцуп, не девушка сами устраивайтесь и заказывайте все что хотите, – бросает он Оцупу.

Я сижу рядом с Есениным. Все это произошло так быстро, что я не успела произнести ни одного слова.

– Вот вы какая, – говорит Есенин, в упор, внимательно разглядывая меня, как предмет, выставленный напоказ в витрине магазина. – Не думал, что вы такая.

Меня раздражает его бесцеремонное обращение со мной. – Мне очень жаль, что я «не такая», – насмешливо говорю я. – Но ничего не поделаешь! Такая, как есть, а не другая. Он добродушно смеется.

---

[4] имена ненавистные, одиозные (лат.)

– Ну, жалеть-то тут не приходится. Скорее наоборот. Вы все об извозчиках и солдатах пишете. Я и полагал: мужеподобная, грубоватая. А на вас я как попосмотрел, так и вспомнил свою же строчку: «О верю, верю, счастье есть».

Я смущаюсь, я чувствую себя обезоруженной. Я очень люблю комплименты. Все же я не сразу сдаюсь.

– Вы цитируете самого себя. On n'est jarnais aussi bien servi que par soi-meme?[5] Так ведь? Он как будто не замечает моего язвительного тона.

– Вы знаете, – доверчиво продолжает он, – мне кажется, мы с вами давным-давно знакомы.

– Конечно, – я киваю, – мы с вами встречались на углу Хеопсовой пирамиды. Отлично помню.

Он морщится.

– Бросьте, бросьте. Оставьте эти петербургские штучки вашим кислым эстеткам. Вам они совсем не к лицу. Так выражалась Ахматова, а злая оса Гиппиус, та еще больнее жалила. Сколько они мне крови испортили! Потом, конечно, тоже были готовы хвостиками вилять, когда я прославился. А сначала все кроме Блока и Городецкого, меня в штыки приняли. Особенно это воронье пугало, Гумилев. Холодом обдавали. Заморозить хотели.

Да, я знаю. В 1912 году Есенина действительно приняли более чем холодно, а ведь он – крестьянский самородок – приехал покорить Петербург! Как-то на каком-то чопорном приеме Гиппиус, наставив лорнет на его валенки, громко одобрила их: «Какие на вас интересные гетры!» Все присутствующие покатились со смеха.

Такие обиды не прощаются. И не забываются.

---

[5] Никто о тебе не позаботится так же хорошо, как ты сам (фр.)

– Очень мне обидно было и горько, – говорит он. – Ведь я был доверчив, наивен...

И он действительно смотрит на меня своими васильковыми глазами доверчиво и наивно. В нем – что-то очень не по годам молодое, даже мальчишеское, совсем не вяжущееся с его репутацией.

Лакей уставляет стол передо мной всевозможными закусками. Но у меня пропал аппетит. Как всегда, когда мне очень интересно, мне есть не хочется.

Есенин наливает мне рюмку водки.

Я качаю головой.

– Не пью.

– Напрасно! Вам необходимо научиться. Водка помогает.

– От чего помогает?.. – спрашиваю я.

– От тоски. От скуки. Если бы не водка и вино, я уже давно смылся бы с этого света! Еще девушки, конечно. Влюбишься, и море по колено! Зато потом, как после пьянки, даже еще хуже. До ужаса отвратительно.

Он на минуту замолкает.

– Вот еще животные. Лошади, коровы, собаки. С ними я всегда, с самого детства, дружил. Вы хорошо сделали, что ввели свою обмызганную лошадь в рай. Крестьяне животных совсем не понимают. Как они грубы и жестоки с ними. Ужас! А я их всегда любил и жалел. В десять лет я еще ни с одной девушкой не целовался, не знал, что такое любовь, а целуя коров в морду, просто дрожал от нежности и волнения. Ноздри мягкие и губы такие влажные, теплые, и глаза у них до чего красивые! И сейчас еще, когда женщина мне нравится, мне кажется, что у нее коровьи глаза. Такие большие, бездумные, печальные. Вот как у Айседоры. А шампанею, – перебивает он себя, – вы непременно должны выпить. За нашу встречу! Хоть один бокал.

И я чокаюсь с ним и пью.

Кругом шумят, но я слышу только то, что говорит Есенин. Я гляжу на него. Нет, я не могу поверить, что это тот самый хулиган-скандалист. Он так трогательно нежен. Он нежный, нежный, «нежности нежней!». Просто, по Маяковскому, «не мужчина, а облако в штанах». И до чего очарователен.

Ресторан совсем опустел. Пора уходить. Лакеи подают ему на тарелке сложенный счет с отогнутым уголком, в нем вписано многозначное число. Есенин обрывает на полуслове начатую фразу и, совершенно переменившись, деловито и сосредоточенно начинает проверять счет.

– Э, нет, врешь! Не проведешь! Никакого омара никто не требовал. Не было омара! – заявляет он лакею.

– Извиняюсь. В конце стола тот господин, кажется, заказали-с, – оправдывается неуверенно лакей.

– Врешь! Шашлык они заказали-с, – отчеканивает Есенин, – шашлык-с! И он тут помечен. – Он достает из кармана карандаш и вычеркивает омара. – И шампаней не семь, а шесть бутылок. – Он снова вычеркивает что-то, затем усердно подсчитывает и, вынув из кармана пиджака толстую пачку кредиток, рассчитывается. Должно быть, он хорошо, даже очень хорошо, оставил на чай. И метрдотель и лакеи провожают нас с поклонами.

Швейцар подает ему пальто необычайного фасона. Таких в Берлине никто не носит. Где только он раздобыл его? Он почему-то называет его «пальмерстон».

Он ухарски надевает шляпу набекрень. На его пушистой, светловолосой голове шляпа, криво посаженная, кажется до смешного неуместной. Он говорит:

– Айда! Едем в Аделон, к Айседоре! Она рада будет – заждалась меня. Едем! Не все, конечно. – И он начинает отбирать тех членов кувырк-коллегии, кото-

рых он удостоит чести взять с собой сегодня в Аделон, к Айседоре.

Мы едем в такси втроем. Я посередине, слева Оцуп, справа Есенин.

Они переговариваются через меня. Есенин говорит:

– Как хорошо, что вы сегодня пришли к Ферстеру, ловко вышло. Я ведь и сам не собирался туда, хотел с Айседорой в какой-нибудь шикарный немецкий Weinstube[6] – она это любит – пообедать, да перед самым выходом портился с ней. Часто мы с ней ругаемся. Вздорная баба, к тому же иностранная – не понимает меня, ни в грош не ставит.

– Может быть, тогда нам лучше к ней не ехать? Неудобно, раз она сердится, – начинает тянуть Оцуп.

– Вздор, – перебивает его Есенин. – Я вас только предупреждаю. Если она будет ерепениться и морду воротить, не обращайте внимания, а вклейте ей какой-нибудь комплимент позабористее по женской части. Сразу растает. Она ведь, в сущности, неплохая и даже очень милая иногда.

У меня слегка шумит в голове от непривычного шампанского. Я смотрю, прищурившись, в окно такси на пустые унылые ночные улицы Берлина. От фонарей тянутся длинные, острые лучи, совсем как когда-то в детстве от лампадки.

– А ведь могли и не встретиться, – продолжает Есенин. – Теперь давайте каждый день видеться. Завтра с утра, то есть в час, приходите туда же к Ферстеру завтракать, а потом закатимся куда-нибудь за город, в «зеленое», как немцы говорят. Согласны? Идет?..

Это уже ко мне.

---

[6] ресторан, винный погребок (нем.)

– Нет, – отвечаю я, – нет. Не идет. Завтра в девять часов утра я уезжаю в Браунлаге, в санаторию. Он быстро наклоняется ко мне:

– То есть вы хотели ехать, но не поедете. Побоку поездку в санаторию. К черту ее. Отложите недели на две, пока я буду в Берлине. Я качаю головой:

– Невозможно. Меня ждут. Я уже списалась, и комната мне оставлена.

Он пожимает плечами.

– Велика важность, подумаешь! Пошлем телеграмму с отказом и все тут. Вот и Оцуп такого же мнения.

– Не совсем... э-э-э, – тянет Оцуп, – все же неудобно, раз решено. И Георгий Иванов...

– Ну, кто о муже думает, когда он в Париже. – Есенин берет меня за локоть. – Вы не можете уехать, раз я не хочу.

В темноте его светлые голубые глаза кажутся прозрачными. Я смотрю в них, как сквозь стекло, и мне кажется, что я действительно вижу – ему очень хочется, чтобы я осталась.

– Нет, – я вздыхаю, – к сожалению, не могу.

– Не можете? Правда? – переспрашивает он, растягивая слова.

– А что вы скажете, если я сам приеду к вам, в вашу санаторию? Махну туда?

Я не могу скрыть своей радости!

– Я буду вас ждать! Приезжайте! Непременно приезжайте! Он откидывает голову.

– Так, – произносит он, будто ставит точку, и, помолчав: – Только я не приеду. Не ждите. И даже письма вам не напишу. Скатертью дорога! Но вы когда-нибудь пожалеете. Да поздно будет.

Автомобиль останавливается.

Оцуп помогает мне выйти из него, Есенин расплачивается с шофером.

Мы входим в Аделон. Остальные члены кувырк-коллегии уже тут и ждут в холле, не решаясь без Есенина подняться к Айседоре.

Есенин окидывает их взглядом:

– Все тут? Ну, пошли, – командует он.

Он первый входит в широкий лифт, остальные за ним. Потом, под его же предводительством, по обитому бобриком коридору все чинно, попарно следуют за ним.

Он останавливается перед одной из дверей и, не постучав, открывает ее и входит через прихожую в нарядную гостиную с большим роялем в углу.

– Вот и мы! – провозглашает он. – Принимай гостей, Айседора.

Айседора Дункан – я узнаю ее по портретам – сидит в глубоком кресле, обитом розовым шелком. На ней похожее на хитон сиреневое платье без рукавов. Светлые волосы уложены «улитками» на ушах. На плечах длинный шарф.

У нее бледное, ничего не выражающее, слегка опухшее лицо и какой-то неподвижный, отсутствующий взгляд.

– Эсенин, – не то с упреком, не то радостно вскрикивает она и сразу встает с кресла, разогнувшись как спираль.

Есенин бросает прямо на ковер свой пальмерстон и садится в ее кресло, далеко протянув перед собой ноги в модных плоских ботинках «шимми».

Она с полуулыбкой поднимает его шляпу и пальто, вешает их в прихожей и любезно здоровается с Оцупом и мной. Есенин не нашел нужным нас с ней познакомить, но это, по-видимому, ее не удивляет.

Я смотрю на нее. Нет, она не такая, как ее описывали еще в Петербурге, грузная, дряблая. Напротив, она стройна и похожа на статую. Не только телом, но и

лицом. Кажется, что она, как статуя, смотрит – по Гегелю – не глазами, а всем телом.

Члены кувырк-коллегии, успевшие снять свои пальто в прихожей, скромно рассаживаются поодаль.

– Шампанею, – приказывает Есенин. – И чаю, кофе, конфет, фруктов. Живо. Ванька, тащи тальянку. Я буду частушки петь.

Лакей разносит чай, кофе, печенье, шампанское. Гости, присмиревшие было, снова начинают шуметь.

Есенин, подыгрывая себе на гармонике, залихватски и ритмично выкрикивает слова частушек.

Ему бурно хлопают:

– Еще, Сережа, еще. Жарь! Жарь!

Весело? Нет, здесь совсем не весело. Не только не весело, но как-то удивительно неуютно. И хотя в комнате тепло, кажется, что из завешанных розовыми бархатными шторами окон тянет сквозняком и сыростью. Что-то неблагополучное в воздухе, и даже хрустальная люстра светится как-то истерически ярко среди дыма от папирос.

Есенин здесь совсем другой, чем там, в ресторане, в такси. В нем какое-то озорство и удаль, похожие на хулиганство. Ничего не осталось от его райской нежности и наивной доверчивости.

Айседора садится на диван, рядом со мной, и заводит разговор – о себе и обо мне. Очень женский, очень интимный разговор.

– Как хорошо, что с вами можно говорить по-английски. Ведь друзья Есенина ни слова, кроме как на своем языке, не знают. Это страшно тяжело. И надоело. Ах, до чего надоело! Он самовлюбленный эгоист, ревнивый, злой. Никогда не выходите замуж за поэта, – неожиданно советует она мне.

Я смеюсь:

– Я уже жена поэта.

Она неодобрительно качает головой:

– Пожалеете, и как еще, об этом! Вот увидите. Поэты отвратительные мужья и плохие любовники. Уж поверьте мне. Хуже даже, чем актеры, профессора, цирковые борцы и спортсмены. Недурны – военные и нотариусы. Но лучше всех – коммивояжеры. Вот это действительно любовники. – И она начинает восхвалять качества и достоинства коммивояжеров. – А поэты, – продолжает она, – о них и говорить не стоит – хлам! Одни словесные достижения. И большинство из них к тому же пьяницы, а алкоголь, как известно, враг любовных утех.

Есенин подходит к дивану, неуверенно ставя ноги, будто идет по скользкому льду. Пьян он или только притворяется? Его васильковые глаза неестественно блестят, точно стеклянные. Он тяжело садится рядом с Айседорой.

– Ну что, как у вас тут? Вздоры да уморы – бабьи разговоры? насмешливо спрашивает он меня. – Жалуется на меня? А вы уши развесили? Так! Так! А лучше бы она сплясала Любопытно, занятно она пляшет. Спляши, Айседора! – обращается он уже не ко мне, а к ней. – Спляши, слышь! – Он резким движением сдергивает с ее плеч длинный шарф и протягивает его ей. – Ну, allez! go on! Валяй!

Она, вся по-птичьи встрепенувшись, растерянно смотрит на него.

– Пляши! – Уже не просит, а приказывает он. – Айда! Живо! Allez! – и он начинает наяривать на гармонике.

Она встает. Неужели она будет танцевать перед этой полупьяной кувырк-коллегией? И разве она может танцевать под эти ухарские, кабацкие раскаты?

Она прислушивается к ним, будто соображая что-то, потом, кивнув Есенину, выходит на середину комнаты какой-то развязной походкой.

Нет, это уже не статуя. Она преобразилась. Теперь она похожа на одну из тех уличных женщин, что «любовь продают за деньги». Она медленно движется по кругу, перебирая бедрами, подбоченясь левой рукой, а в правой держа свой длинный шарф, ритмически вздрагивающий под музыку, будто и он участвует в ее танце.

В каждом ее движении и в ней самой какая-то тяжелая, чувственная, вульгарная грация, какая-то бьющая через край, неудержимо влекущая к себе пьянящая женственность.

Темп все ускоряется. Шарф извивается и колышется. И вот я вижу – да, ясно вижу, как он оживает, как шарф оживает и постепенно превращается в апаша. И вот она уже танцует не с шарфом, а с апашем.

Апаш, как и полагается, сильный, ловкий, грубый хулиган, хозяин и господин этой уличной женщины. Он, а не она, ведет этот кабацкий, акробатический танец, властно, с грубой животной требовательной страстью подчиняя ее себе, то сгибает ее до земли, то грубо прижимает к груди, и она всецело покоряется ему. Он ее господин, она его раба. Они кружатся все быстрей и быстрей...

Но вот его движения становятся менее грубыми. Он уже не сгибает ее до земли и как будто начинает терять власть над ней. Он уже не тот, что в начале танца.

Теперь уже не он, а она ведет танец, все более и более подчиняя его себе, заставляя его следовать за ней. Выпрямившись, она кружит его, ослабевшего и покорного, так, как она хочет. И вдруг резким и властным движением бросает апаша, сразу превратившегося снова в шарф, на пол и топчет его ногами.

Музыка сразу обрывается.

И вот женщина стоит, вся вытянувшись и высоко подняв голову, застыв в торжествующей победоносной позе.

Гром и грохот восторженных криков и аплодисментов. Один из членов кувырк-коллегии кидается перед ней на колени.

– Божественная, дивная Айседора! Мы, все мы недостойны даже ножку вашу целовать. – И он в каком-то пьяном упоении действительно целует ковер под ее ногами.

Но она как будто даже не замечает его. Есенин смотрит на нее. По его исказившемуся лицу пробегает судорога.

– Стерва! Это она меня!.. – Громко отчеканивает он.

Он подходит к столу, уставленному стаканами и никелированными ведрами с шампанским. Трясущейся рукой наливает себе шампанское, глотает его залпом и вдруг с перекосившимся, восторженно-яростным лицом бросает со всего размаха стакан о стену.

Звон разбитого стекла. Айседора по-детски хлопает в ладоши и смеется:

– It's for good luck![7]

Есенин вторит ей лающим смехом:

– Правильно! В рот тебе гудлака с горохом! Что же вы, черти, не пьете, не поете: многая лета многолетней Айседоре, тудыть ее в качель! Пляшите, пейте, пойте, черти! – кричит он хрипло и надрывно, наполняя стаканы. – И чтобы дым коромыслом чтобы все ходуном ходило! Смотрите у меня!

Оцуп берет меня за локоть:

– Пора. Ведь вам завтра рано вставать. И вообще пора. Дальнейшего вам видеть не полагается.

---

[7] Это на счастье! (англ.)

Я согласна.

– Да, пора. Надо только проститься с ними.

– Нет, не надо, незачем, – решает Оцуп. – Начнут уговаривать, не пускать. Просто улизнем. Они и не заметят.

И они действительно не замечают.

Мы осторожно пробираемся в прихожую, находим свои пальто и шляпы и, стараясь не шуметь, закрываем за собой дверь, спускаемся в лифте.

Полутемный холл пуст.

На улице дождь. Швейцар с огромным красным зонтиком провожает нас до такси.

Я снова смотрю в окно такси на спящий ночной тоскливый Берлин. Мне начинает казаться, что я плачу, что не капли дождя стекают по стеклу окна такси, а слезы по моим щекам.

– Досадно, что Жоржа не было с нами, – говорит Оцуп, удивительно забавный вечер. Просто необычайно удачный. А вы капризничали, не хотели ехать обедать.

– Я лучше бы не ездила, – быстро говорю я. – Я радовалась, что завтра вечером буду в санатории, а теперь мне так грустно. И все отвратительно. Господи, до чего грустно и отвратительно!

– Что с вами? – удивленно спрашивает Оцуп. – Совсем на вас не похоже. С чего это вы раскисли? С одного стакана шампанского. Ведь я видел – вы только один стакан...

Неужели он не понимает? Не чувствует? Я вздыхаю:

– Бедный Есенин! Мне так жаль, так жаль его.

– Жаль его? – возмущенно переспрашивает он. – Жаль Есенина? Ну, это вы бросьте! Жалеть его абсолютно не за что. Редко кому, как ему, в жизни везет. Не по заслугам везет. Дарованьице у него маленькое, на грош, на полушку, а он всероссийскую славу, как жар-

птицу, за хвост поймал, женился, пусть на старой, но все-таки мировой знаменитости и отправился в турне по Европе и Америкам. Лучше уж, раз у вас такие большие запасы жалости, пожалейте всех бедных, бездомных эмигрантов, да и тех, кто в России мучаются, а не счастливчика Есенина, – уже с раздражением запальчиво заканчивает он.

Он ждет, что я начну с ним спорить.

Но я не спорю.

– Вы правы. Мне всех жалко. Господи, как жестока жизнь, как несчастны люди! Все без исключения. Особенно Есенин и она, Айседора. Ведь и ей очень тяжело...

Когда я вернулась из санатории, Есенин уже уехал в Америку.

Письма от него я так и не получила. Ведь он сказал мне, что не напишет. Но я почему-то все же думала, что он вспомнит обо мне, вспомнит и напишет.

Мне почему-то казалось, что мы еще непременно встретимся. Не сейчас, так когда-нибудь потом. Но встретимся непременно. И только когда до Парижа дошло известие о самоубийстве Есенина и мне стало ясно, что другой встречи с ним у меня никогда не будет, я заплакала, будто потеряла близкого друга.

* * *

Мы приехали в Париж в самое неудачное время – в августе месяце. Почти все магазины были закрыты. В то время каникул для рабочих еще не существовало и толпа на улицах была серая. Все элегантные люди уезжали в отпуск, отдыхать на курорты в горы. С прелестью и очарованием Парижа я познакомилась позже. Я целыми днями бегала по музеям до тошноты, до головной боли. Я побывала в Лувре и Люксембургском

дворце, ездила в Версаль и Мальмезон. Но толком ничего не видела. Но на Эйфелеву башню я поехала только тогда, когда мои знакомые «американцы русского происхождения» приехали осматривать Париж. Эйфелева башня меня не удивила, и я не понимаю до сих пор их восторга этой эмблемой Парижа. С целой толпой туристов мы поднимались на нее. Впечатление было слабое. Но мне тогда вспомнилась история, рассказанная Адамовичем. Он во время революции возвращался из Старой Руссы. Вагон был набит – как сельди в бочке! В публике, сидевшей в вагоне, находилась старушка, из бывших, как говорится, буржуев. Она вдруг забеспокоилась и стала ерзать на месте: «Товарищи, пропустите, – взмолилась она. – У меня разболелся живот, мне надо выйти»... Но в ответ раздался хохот. «Где же тут выйдешь? Придумала тоже, по головам, что ли?» Но она не унималась и умоляла ее пропустить. Любезные красноармейцы предложили ей: «А мы тебя, бабушка, возьмем за ноги и за руки и вывесим в окно». Она пришла в ужас, но делать нечего, согласилась. Под общий гогот и отпускаемые шуточки. Потом, когда ее снова посадили на место, она, сидя красная, как вареный рак, закрывала лицо руками. И вдруг воскликнула: «Господи, и это со мной, какой позор. И это со мной, которая видела Эйфелеву башню».

Мы приехали с отцом и поселились очень неудачно, в огромном мрачном отеле без лифта. Знакомая моего отца говорила, что это один из лучших отелей. Но мне, привыкшей к берлинским элегантным пансионам, такая жизнь показалась совсем невозможной. Обедать мы ходили в огромный ресторан, неуютный и тусклый. Я обычно обедала в лучших ресторанах. Мы гуляли по бульварам. В 11 часов все уже было закрыто. На улицах было темно. Открыто было только небольшое казино. Все театры закрыты. Работал лишь ма-

ленький «Пти-казино», в котором когда-то подвизался Майоль. Но больших звезд не было, пойти было некуда, смотреть и слушать было некого.

К тому же в первую нашу ночь после приезда треснуло большое каминное зеркало и хозяин хотел предъявить нам иск. Мы его убеждали, что так сверху донизу оно по нашей вине треснуть не могло, и он наконец с нами согласился. Но впечатление все это на меня произвело тяжелое и угнетающее, как предчувствие будущей жизни. А суеверный Георгий Иванов был попросту потрясен. Шум на улицах не давал нам спать. Все было не так, как мы ожидали.

Ту зиму, зиму 1925-1926 года, мы с Георгием Ивановым проводили в Ницце.

Из Парижа Георгий Адамович писал нам, что он постоянно бывает у Мережковских и что они, как когда-то в Петербурге, возобновили свои «воскресенья», игравшие немалую роль в дореволюционной литературной жизни.

Я еще в детстве увлекалась трилогией Мережковского – «Петром и Алексеем», «Юлианом Отступником» и особенно «Леонардо да Винчи». Читала я и «Александр Первый», «Гоголь и черт», «Толстой и Достоевский». Видела на сцене и «Павла I», до революции находившегося под запретом.

Знала я, конечно и стихи Зинаиды Гиппиус. Они мне не очень нравились своей рассудочностью и, главное, тем, что она писала о себе в мужском, а не в женском роде.

Все же я знала наизусть два ее стихотворения. Первое очень любил Блок:

Окно мое высоко над землей,
Высоко над землей.
Я вижу только небо с вечернею зарей,
С вечернею зарей

с его качающимся ритмом, с его редко свойственной Гиппиус музыкальностью и неожиданно прелестным концом, таким характерным для всегда и всем недовольной Гиппиус:

Мне нужно то, чего нет на свете,
Чего нет на свете.

И второе:

Единый раз вскипает пена
И рассыпается волна.
Не может сердце жить изменой,
Измены нет – любовь одна...

Читала я, конечно, и Антона Крайнего (псевдоним Гиппиус), беспощадного критика, ведущего суд и расправу над современной прозой и поэзией.

Антона Крайнего боялись не меньше, чем самого Брюсова. Приговоры его были убийственны. Критические статьи его пестрели определениями вроде: «рыжая бездарность», «идиот», «недоносок», «кретин» и тому подобными вежливыми характеристиками писателей.

На похвалы Антон Крайний был чрезвычайно скуп. Даже о «Стихах о Прекрасной Даме» Блока он отозвался более чем сдержанно.

О Зинаиде Гиппиус в Петербурге ходили всевозможные легенды, как, впрочем, обо всех знаменитых писателях и писательницах.

Рассказывали, что она выходила на сцену в белом хитоне с распущенными длинными рыжими волосами, держа лилию в руках, и молитвенно произносила:

Я сам себя люблю, как Бога.

Рассказывали, что она требует, чтобы все ее бесчисленные поклонники, те, что женаты, отдавали ей свои обручальные кольца, и что она нанизывала их на цепочку, висевшую в изголовье ее кровати.

Видела я и прославленный портрет Бакста, где она изображена в черном трико, казавшемся в те далекие годы фантастически неприличным и скандальным. Мне не раз в Петербурге приходилось слышать во время моих чтений стихов восхищенные восклицания пожилых представительниц художественной богемы:

– Совсем наша Зина!

Хотя, судя по ее портрету, я ничем не была похожа на нее. О Мережковском я знала, что он всемирно знаменит, дома ходит в ночных туфлях с помпонами, пишет четыре часа в день, каждый день, что бы ни случилось, а остальное время проводит в бесконечных дискуссиях с Розановым, Булгаковым, а главное – с Философовым и Зинаидой Гиппиус.

Адамович писал нам, что З. Н. Гиппиус выразила желание познакомиться с Георгием Ивановым и мной, и мы, не долго думая, собрались и приехали в Париж.

И вот мы на 11-бис, рю Колонель Бонна, у Мережковских.

Вполне буржуазный дом, вполне буржуазная, хотя и очень скромная и безвкусно обставленная квартира с многотомной библиотекой. Мережковский всегда и всюду первым делом обзаводился библиотекой. Он не мог и дня прожить без книг. В разговоре он постоянно цитировал древних и средневековых авторов. Его недаром называли «полководцем цитат».

Квартира была снята Мережковским еще задолго до войны, чтобы во время приездов в Париж не приходилось – «Ведь это так неудобно» – жить в отеле. «И как она теперь пригодилась! Ведь в Париже квартирный

кризис. Что бы мы стали делать, если бы у нас ее не было?»

Чаепитие почему-то происходит в это воскресенье не в столовой, а в смежной с нею гостиной, за небольшим столом. Гости сидят вокруг него двойным кольцом.

Адамович представляет Георгия Иванова и меня Зинаиде Николаевне Гиппиус. Она, улыбаясь, подает мне правую руку, а в левой держит лорнет и в упор разглядывает нас через него – попеременно – то меня, то Георгия Иванова.

Я ежусь. Под ее пристальным, изучающим взглядом я чувствую себя жучком или мухой под микроскопом – очень неуютно.

Мережковский, здороваясь с нами, рассеянно оглядывает нас и продолжает свои рассуждения об Атлантиде.

Злобин, играющий одновременно роль секретаря Мережковского и роль jeune fille de la maison[8], находит для меня место за столом и приносит мне чашку чая.

Зинаида Николаевна усаживает Георгия Иванова возле себя с правого, слышащего уха и, не обращая внимания на общий разговор, подвергает его перекрестному вопросу-допросу: «что, как и зачем, а если нет – то почему?», стараясь выпытать у него, «интересуется ли он интересным».

Оказывается – интересуется. Если не всем, то все же главнейшим спасением России и поэзией.

Я смотрю на Зинаиду Николаевну. Она все еще время от времени наводит на меня стекла своей лорнетки. Я знаю, что она очень близорука, но меня все же удивляет это бесцеремонное разглядывание. Удивляет и

[8] девушка в доме (фр.)

смущает, но не обижает. Обижаться было бы неуместно. Обижаться не полагается.

Нет, она совсем не похожа ни на портрет Бакста, ни на воображаемый портрет, созданный мною по рассказам о ней. И она ничем не похожа на меня. Абсолютно ничем. И слава Богу!

Впрочем, одним она все же схожа со своим воображаемым портретом страстным желанием нравиться, «будить повсюду восхищение», сквозящим в каждом ее жесте, в каждом слове, лениво и капризно произносимом ею.

Да, она могла снимать с рук своих поклонников обручальные кольца.

Я спрашиваю себя: уж не потребует ли она и у Георгия Иванова его обручальное кольцо?

Но как мог Блок называть ее «зеленоглазой наядой». «Женщина – безумная горячка» – еще и сейчас правильно сказано о ней. Но «зеленоглазая наяда»... Как он мог?..

У нее мутно-болотистые, бесцветные глаза. Лицо без рельефа. Плоский лоб. Довольно большой нос. Узкие, кривящиеся губы... Она очень сильно набелена и нарумянена. Морковно-красные волосы, явно выкрашенные хной, уложены в замысловатую, старомодную прическу с шиньоном. Волос чересчур много. Должно быть, большая часть их фальшивые.

Но я ошибаюсь. Волосы, как я потом узнала, все ее собственные. Она до последних дней сохранила длинные, густые волосы и любила распускать их и хвастаться ими.

На ней пестрое платье какого-то небывалого фасона, пестрое до ломоты в глазах. И, будто этой пестроты ей еще мало, на груди большая ярко-зеленая роза и коралловo-красная ленточка на шее.

Я разочарованно гляжу на нее. В ней что-то неестественное, даже немного жуткое. Она чем-то – не знаю чем – о, только не красотой – смутно напоминает мне Панночку Вия.

Но, может быть, я несправедлива к ней и слишком строга? У нее тонкие ноги в узеньких, остроносых, бронзовых туфельках и стройная, изящная фигура.

Может быть, надо только привыкнуть к ее гриму, к ее маскарадному наряду, к ее жеманно-ленивой манерности и лорнету? Может быть, она действительно могла казаться когда-то «зеленоглазой наядой»?

Нет, я еще не могу правильно судить о ней. Я не доверяю первым впечатлениям. Я перевожу взгляд на сидящего рядом с ней Георгия Иванова, и по выражению его лица мне сразу становится ясно, что он-то уже подпал под ее шарм, что он уже покорен ею. А ведь он очень строго судит о людях и понравиться ему трудно. Возможно, я ошибаюсь. И я действительно в тот день ошибалась, судя о ней. Никогда я так неправильно, так несправедливо не судила – ни о ком, как в ту первую встречу о Гиппиус .

Но смягчающее мою вину обстоятельство – ни у кого «внешнее» и «внутреннее» так не расходились и даже, казалось, не враждовали друг с другом.

Я видела всегда только ее внешнее. О ее внутреннем я ничего не знала и даже не догадывалась, какое оно...

Я перевожу взгляд на Мережковского. Он-то по крайней мере совсем, точь-в-точь, как мне его описывали – маленький, худой, сутулый до сгорбленности, с поразительно молодыми, живыми, зверино-зоркими глазами на старом лице, обрамленном интеллигентской бородкой.

Вот он встает. Ему понадобилась в разгаре спора, для цитаты, какая-то книга, и он мелкими, бесшумными шажками идет за ней в кабинет.

Да. Он совсем точь-в-точь такой. Для полного сходства не хватает только помпонов на синих войлочных туфлях. Но где в Париже найти туфли с помпонами?

Он возвращается, держа раскрытую книгу в руках и убедительно произнося непонятную мне греческую цитату.

Он весь сверкает и горит вдохновеньем. Слова его пенятся, плещут и льются водопадом. Я за всю жизнь не встречала никого, умеющего так говорить и импровизировать.

Никого, за исключением Андрея Белого, тоже рассыпавшегося блестками, искрами и брызгами в яростном водовороте слов и образов, – он, как на качелях взлетавший на доказательствах, рушившийся в бездну отрицания и закруживающий, как на карусели, слушателя, до отупения, до головокружения, до невозможности спорить, до безоговорочного принятия всего и согласия со всем, что с неистовым красноречием утверждает Андрей Белый.

Впрочем, у Мережковского была черта, отсутствовавшая у Андрея Белого, умение концентрироваться и постоянное, никогда не ослабевающее устремление всех мыслей и воли к одной цели: к созданию Царства Духа, к преображению души.

Сейчас он спорит с чисто юношеской запальчивостью и жаром о дате смерти какого-то неизвестного мне фараона с сидящим рядом с ним худощавым брюнетом – с Юрием Терапиано, как мне услужливо сообщает устроившийся во втором круге за моей спиной очень длинный и длинноволосый, седеющий молодой поэт Антонин Ладинский, как он мне представился, повоенному щелкнув каблуками.

Здесь, за исключением Адамовича и Оцупа, Георгия Иванова и меня, почти все «молодые поэты».

Молодые не столь годами, как творчеством. Все они начали печатать свои стихи уже в эмиграции.

Всех их я вижу впервые. Я обвожу их взглядом, перескакивая с одного незнакомого лица на другое, запоминая лишь какую-нибудь деталь – серьезный, сосредоточенный вид Терапиано, красивые глаза Мамченко под резко очерченными темными бровями, энергичное, жизнерадостное выражение лица Кнута, очки Злобина, горделиво закинутую пышноволосую голову Бахтина.

Все они, вместе с Гиппиус и Мережковским, Адамовичем и Оцупом, сливаются в одну картину. Ее надо непременно запомнить. Ее нельзя забыть. Ведь это одно из самых интересных и значительных событий, что сейчас происходят в эмиграции, – «воскресенье» на рю Колонель Боннэ.

Зинаида Николаевна уже перестала наводить на меня лорнет. Она подносит чашку кофе к губам, прислушиваясь к тому, что говорит Мережковский.

Перед ней стоит маленький кофейник. Пить кофе полагается только ей одной. Остальные, независимо от их вкусов, о которых никто не осведомляется, довольствуются чаем.

– Нет, Димитрий. Я не согласна! – вдруг громко, капризным тоном заявляет она, прерывая страстную тираду Мережковского.

«Я не согласна» – фраза, наиболее часто – кстати или не совсем кстати произносимая ею. Утилитарная, ширпотребная фраза, паспарту. Ее разговоры часто начинаются именно с нее:

– Я не согласна с Эйнштейном! или – с Бергсоном! или – с Алдановым! или – со Степуном!

Иногда, по глухоте – она из кокетства старается скрывать ее – не расслышав, о чем спрашивают, отвечает:

– А я не согласна!..

И чаще всего ее ответ производит магическое действие. Так, например, молодой поэт, робея и смущаясь, задает ей вопрос:

– Зинаида Николаевна, вы читали мои стихи.

И она роняет капризно-кокетливо:

– Нет. Я не согласна.

Спрашивающий в смущении замолкает. Стихи его, должно быть, не понравились Зинаиде Николаевне, неизвестно почему. Но не стоит настаивать. Ведь она любит повторять афоризм: «Если надо объяснять, то не надо объяснять». И он не решается требовать объяснений.

Сейчас я впервые слышу от нее ее знаменитый протест, о котором мне когда-то рассказывал еще Гумилев в Петербурге.

Я вся превращаюсь в слух. Я хочу знать, с чем она, собственно, не согласна, мне хочется услышать парадоксальные выводы и доводы ее блестящего, острого, неженского ума.

Нет, все-таки женского – ведь ведьма – женщина. Троцкий писал когда-то: «Я не верю в существование нечистой силы (цитирую по памяти). Не верю ни в чертей, ни в ведьм. Впрочем, все-таки в существование ведьм верю, – вспомнил Зинаиду Гиппиус». И тут же отдает дань ее исключительному уму. Но послушать Зинаиду Николаевну мне в тот день не удается. Ко мне близко наклоняется сидящий за мной Антонин Ладинский и шепчет мне в самое ухо:

– Какой ваш любимый цветок?

Я поворачиваюсь и чуть не стукаюсь лбом о его лоб.

– Что?

– Какой ваш любимый цветок? Уверен, что роза. Правда? Я угадал?

Переход от рассуждениий об Атлантиде к любимому цветку так неожиданно фантастичен, что я с трудом удерживаю смех.

А он, наклонившись ко мне, ждет моего ответа. Верно, он, глядя на меня, подумал: «Бедненькая, сидит, молчит и скучает, слушая непонятное. Надо ее занять подходящим разговором», – и, как телеграфист, гуляющий по железнодорожной платформе со станционной барышней, задал мне галантный, доступный моему пониманию вопрос. Я киваю.

– Вы правильно угадали – роза!

Он широко улыбается, прикрывая рот характерным жестом, и произносит:

– Я был уверен. Вы сами похожи на белую розу! Я не успеваю поблагодарить его за такой оригинальный комплимент.

Зинаида Николаевна встает, и все за ней. Прием окончен. Шум отодвигающихся стульев. Все подходят прощаться с Зинаидой Николаевной. Подхожу и я.

– Надеюсь, вы будете постоянно бывать у нас. Каждое воскресенье, – любезно и капризно тянет она. – С вашим мужем мы уже сговорились. Он обещал. А вы?

И я, краснея от удовольствия:

– Обещаю, Зинаида Николаевна.

Да, я тогда, в то первое «воскресенье» у Мережковских, еще не могла правильно судить о Зинаиде Гиппиус.

Я многое в ней не разглядела и не поняла. Я не разглядела даже, что у ее лорнетки не два, как полагается, а только одно стекло, что это не лорнетка, а единственный в своем роде предмет – монокль на ручке, должно быть, сделанный по особому заказу.

В те далекие годы монокли еще были в ходу – их носили изящные старики и снобистские молодые лю-

ди. Но, конечно, не дамы. Дама в монокле или с моноклем была совершенно немыслима.

Но, как почти всегда, действительность оказалась более фантастичной, чем фантазия. Зинаида Николаевна носила монокль. Правда, она носила его исключительно на улице, вставляя его в левый глаз перед зеркалом, в прихожей, перед тем как надеть перчатки.

Гиппиус и Мережковский представляли собой на улице совершенно необычайное зрелище.

Как известно, парижан редко чем можно удивить. Они равнодушно смотрят на китайцев с длинной косой – тогда такие китайцы еще встречались, – на восточных людей в тюрбанах, на японок в вышитых хризантемами кимоно, с трехъярусными прическами, на магарадж и прочих.

Но на идущих под руку по улицам Пасси Гиппиус и Мережковского редко кто не оборачивался и, остановившись, не глядел им вслед.

Я и сама, встретив их впервые, не смогла не остановиться, пораженная их видом.

Они шли под руку – вернее, Мережковский, почти переломившись пополам, беспомощный и какой-то потерянный, не только опирался на руку Гиппиус, но прямо висел на ней. Гиппиус же, в широкополой шляпе, замысловатого, совершенно немодного фасона – тогда носили маленькие «клоши», надвинутые до бровей, – с моноклем в глазу, держалась преувеличенно прямо, высоко подняв голову. При солнечном свете белила и румяна еще резче выступали на ее лице. На ее плечах неизменно лежала рыжая лисица, украшенная розой, а после визита Мережковских к королю Александру Сербскому – орденом Саввы II степени.

Король Александр Сербский пожаловал Гиппиус Савву II степени, а Мережковскому того же Савву, но I степени, что ею было принято не без некоторой

обиды. Мережковский, впрочем, никогда о своем Савве I степени не вспоминал и никогда не надевал его, не в пример Зинаиде Николаевне, не расстававшейся со своим орденом, как с любимой игрушкой.

Они ежедневно обходили небольшую часть Булонского леса, называемую Парк де ля Мюэтт, а потом, тоже по раз навсегда заведенному ритуалу, шли пить кофе в кафе на площади, садясь всегда за один и тот же столик.

В кафе их хорошо знали. Не только гарсоны, но и постоянные посетители. Знали, что это deux grands ecrivains russes[9], и к ним относились с должным уважением.

И во время прогулки, и в кафе они говорили не умолкая. Они всегда находили интересную для них тему и горячо обсуждали события двадцатилетней давности и происшествия сегодняшнего дня. Они как будто не чувствовали ни «груза времени», ни даже границ между жизнью и смертью. О живых и мертвых они говорили совершенно одинаково. Для них мертвые, наравне с живыми, действовали и участвовали в их беседах.

– Нет-нет, – повторяла Зинаида Николаевна, – я не согласна с Яковом Петровичем. Ему кажется, что он всегда прав и что он пишет хорошо. А по-моему

Писатель, если только он
Есть нерв великого народа

просто плохо. Почему писатель должен быть нервом народа? И какой-такой «нерв народа»? Один нерв?.. И дальше: что это значит?

---

[9] два больших русских писателя (фр.)

Не может быть не поражен,
Когда поражена свобода.

Поражен – удивлен? Или поражен – от поражения – то есть не понести поражения? – И, пожимая капризно плечами: – Не понимаю. И понимать не хочу. А Яков Петрович спорит. Он ведь всегда доволен собой, «своим обедом и женой».

Она говорит «спорит», а не «спорил». Спорил больше чем тридцать лет тому назад. Но для Зинаиды Николаевны Полонский не умирал, он по-прежнему ее собеседник. И с ним, как и с другими, игравшими какую-нибудь роль в ее жизни, встреченными ею на длинном жизненном пути, она продолжает споры-разговоры.

С того первого нашего «воскресенья» я бывала на II-бис Колонель Боннэ почти каждое воскресенье. Зинаида Николаевна очень подружилась с Георгием Ивановым. Она часто приглашала его к себе вечером и просиживала с ним до «глубины ночи», с глазу на глаз, и он ни разу не отказался навестить ее. Даже когда я бывала больна и он никуда из дома не выходил, для Зинаиды Николаевны он делал исключение.

Правда, мне и в голову не приходило попросить его не ходить к ней. Я знала, что эти вечерние посещения доставляют ему большое удовольствие.

Мережковские вели размеренную по часам жизнь. Зинаида Николаевна ложилась поздно, проведя полночи в писании писем, дневника, стихов, рассказов и статей, и вставала очень поздно. Ее утро было занято «обрядностями туалета». К ним она относилась крайне серьезно и добросовестно, никогда не забывая произ-

вести над своим лицом все то, что могло «repare r de l'age Virreparable outrage»[10].

Она выходила из своей комнаты только к завтраку, уже вполне одетая, причесанная, подкрашенная и подтянутая.

Мережковский ложился рано, вставал рано и работал все утро до завтрака.

После завтрака они шли гулять в любую погоду – в холод и дождь, считая прогулку не менее необходимой, чем сон и пищу.

Они оба курили. Но не больше раз навсегда положенного числа папирос и только после завтрака. О лечении и гигиене у них были свои особые, довольно странные понятия.

Так, например, на мой совет поехать летом в Виттель или в Виши Мережковский в ужасе замахал на меня руками:

– Бога побойтесь. Смерти вы нашей хотите, что ли? Минеральная вода яд!

И Зинаида Николаевна поддержала его:

– Лучше уж, чем минеральную воду, скипидар пить, как Владимир Соловьев. – И тут же пояснила: – Владимир Соловьев пил скипидар, чтобы избавиться от чертей. Он был уверен, что черти не выносят запаха скипидара и не заберутся к нему в рот.

Зинаида Николаевна подняла свой лорнет-монокль к глазам и, полюбовавшись произведенным впечатлением, продолжала: – но и скипидар не помог. Только смерть его ускорил. А черти преследовали его попрежнему. Правда, мне, как я ни старалась, не удалось их увидеть, хоть мне и очень хотелось...

Ларошфуко в своих «Максимах» утверждает, что «существуют хорошие браки, но восхитительных бра-

---

[10] обратить вспять необратимое время (фр.)

ков не бывает». И это, к сожалению, правильно. В особенности у нас, русских, и особенно в художественных и литературных кругах.

Тэффи, «великая умница-остроумница», как ее называл Бунин, со свойственным ей юмором прерывала надоевшие ей политические споры, без которых не обходился ни один эмигрантский обед:

– Довольно! Теперь займемся очередными литературными делами, поговорим о романах, о том, кто с кем разводится, кто на ком собирается жениться и кто кому с кем изменяет.

И действительно, среди писателей почти не существовало ни одной супружеской пары, не разводившейся, не вступавшей по нескольку раз в новый брак. Даже Михаил Осоргин, героически решившийся перейти, для женитьбы на Рахили Григорьевне, в еврейство, и тот не выдержал, не избежал общей участи – развода.

Но брак Гиппиус – Мережковский опровергает утверждение Ларошфуко. Это был поистине «восхитительный брак».

Вернувшись из Италии, куда они ездили по приглашению Муссолини, Зинаида Николаевна на одном из «воскресений», делясь своими «итальянскими впечатлениями», рассказывала между прочим и о мелких, неизбежных неприятностях. О том, как они забыли в Риме ключи от своих чемоданов и обнаружили это, только приехав уже не помню в какой город:

– Так досадно и глупо. Так утомительно. Нам пришлось возвратиться в Рим. И сколько денег стоило. Туда и обратно два билета в спальном вагоне.

– Но почему же не поехал Димитрий Сергеевич один? Почему вы, Зинаида Николаевна, тоже ездили? – недоумевали слушатели.

Она только плечами пожимала.

– Ну нет! Совершенно невозможно. Немыслимо! Чтобы мы хоть одну ночь провели не вместе? Этого за всю нашу жизнь не было. И надеюсь, никогда не будет.

Они так до самой смерти Димитрия Сергеевича и прожили, не расставаясь ни на один день, ни на одну ночь. И продолжали любить друг друга никогда не ослабевающей любовью. Они никогда не знали скуки, разрушающей самые лучшие браки. Им никогда не было скучно вдвоем. Они сумели сохранить каждый свою индивидуальность, не поддаться влиянию друг друга. Они были далеки от стереотипной, идеальной супружеской пары, смотрящей на все одними глазами и высказывающей обо всем одно и то же мнение. Они были «идеальной парой», но по-своему. Неповторимой идеальной парой. Они дополняли друг друга. Каждый из них оставался самим собой. Но в их союзе они как будто переменились ролями Гиппиус являлась мужским началом, а Мережковский – женским. В ней было много М – по Вейнингеру, а в нем доминировало Ж. Она представляла собой логику, он интуицию.

Они вели беспрерывно дискуссии и споры, опровергая друг друга. Со стороны это казалось чрезвычайно странным. В особенности, когда эти споры происходили на собраниях «Зеленой лампы».

Зинаида Николаевна, всегда усаживавшаяся на эстраду рядом с выступавшим Мережковским, чтобы чего-нибудь не пропустить, не недослышать, вдруг прерывала его речь капризами:

– Нет, я не согласна, Димитрий. Ты ошибаешься. Это совсем не так! После чего сразу же закипала яростная словесная дуэль, оба противника скрещивали шпаги и наносили друг другу искусные и жестокие удары.

Слушатели замирали от изумления. Некоторые из них даже считали, что это подстроено, что это «трюк» для придачи занимательности выступлениям Мереж-

ковского. Разве можно поверить, что Мережковский публично ссорился с Гиппиус? И чем же это кончится, если это не подстроено? Чем?..

А кончалось это обычно так же неожиданно, как и начиналось. Высказав с предельной резкостью все свои доводы, Мережковский сразу превращался в любящего мужа, нежно и заботливо брал Гиппиус под руку, помогая ей сойти с эстрады:

– Осторожно, Зина, ступенька. Не оступись! – подводил ее к месту в первом ряду, усаживал ее и бережно поправлял лисицу, спустившуюся с ее плеча, осведомляясь: – Тебе не холодно? Не дует, Зина? Не принести ли тебе шубку? Не простудись. И она, улыбаясь, благодарила его.

– Нет, хорошо. Спасибо, Димитрий, – и приготовлялась слушать следующего оратора. Заседания «Зеленой лампы»...

«Зеленая лампа», безусловно, одно из замечательнейших явлений довоенной эмиграции.

Она была задумана на «воскресеньях» на 11-бис, Колонель Боннэ, с каждой неделей становившихся все более интересными и многолюдными. Теперь на «воскресеньях» бывали уже и Ходасевич с Ниной Берберовой, и Фондаминский, и Бунин, и Керенский, и Варшавский, и Шаршун, и Тэффи, и Шестов, и Бердяев... Кто только не посещал «воскресений»? Всех не перечесть.

На «воскресеньях» обсуждались общественные, политические, литературные и религиозные вопросы, чаще всего под свойственным Мережковскому «метафизическим углом зрения».

Отвергал Мережковский только разговоры, общепринятые за чайным столом, о здоровье, о погоде и тому подобном, и немедленно пресекал их возмущенным возгласом:

– Обывательщина!

Вскоре выяснилось, что «воскресенья» становятся чем-то вроде «инкубатора идей», каким-то тайным обществом или заговором. И Мережковский, и Гиппиус, одержимые страстью «глаголом жечь сердца людей» и владеть их умами, решили расширить поле своей деятельности, перенести дебаты-дискуссии, в которых из столкновений мнений должна была рождаться истина, из их столовой на «общественную арену». Расширить круг «тайных заговорщиков», перебросить мост в толщу аморфной эмиграции и заставить ее приобщиться к истине.

Название «Зеленая лампа» напоминало о тайном кружке Всеволожского. В нем участвовал и Пушкин.

Теперь, через столько лет, мне кажется, что Мережковские мечтали создать что-то вроде Pugwash , о котором столько пишут и говорят сейчас. Не интернациональный и не научный, а эмигрантский писательско-философско-религиозный. Как и нынешний Pugwash, являющийся некоей доброй, оккультной силой, «Зеленая лампа» должна была спасать если не весь мир, то по крайней мере Россию и ее филиал – эмиграцию.

Что эмиграцию надо спасать не только от «обывательщины», но и от гордыни и самоунижения, от отчаяния и потери веры в будущее, что надо ей помочь организоваться духовно и управлять ею, было для Мережковского несомненным. Всем этим с помощью «заговорщиков воскресников» и должна была заняться «Зеленая лампа».

«Зеленая лампа» начала свое существование 5 февраля 1927 года.

В день открытия В. Ф. Ходасевич объяснил собравшимся, чем была «Зеленая лампа» во времена Пушкина. После чего был прочитан первый доклад,

сопровождавшийся прениями, сразу, как и доклад, произведшими на слушателей сильное впечатление отсутствием академичности и необычной страстностью, горячностью и парадоксальными мыслями, высказываемыми не только Мережковским, но и большинством «заговорщиков».

Так, во время одного из первых заседаний молодой поэт Довид Кнут заявил, что литературная столица России теперь не Москва, а Париж, чем, конечно, вызвал бурные дебаты и реплики с места.

Доклады следовали один за другим. Гиппиус говорила о «Русской литературе в изгнании», Фондаминский-Бунаков – о «Русской интеллигенции как о духовном ордене», Адамович – о том, «есть ли цель у поэзии», и так далее, и так далее.

«Зеленой лампой» заинтересовались широкие круги эмиграции. Многие стали «добиваться чести» попасть на ее заседания.

Для этого требовалось письменное приглашение. Правда, дававшееся без особых затруднений.

Аудитория первых лет существования «Зеленой лампы» была повышенно нервной, верившей в то, что с такой страстью проповедовал Мережковский. Она выражала свое одобрение взрывами аплодисментов, а несогласие и протест криком и топотом ног.

Мережковский, в особенности в ответах оппонентам, когда он импровизировал, а не произносил заранее подготовленную и продуманную речь, достигал необычайной силы и даже магии. Да, именно магии, не нахожу другого слова.

Казалось, что он вырастает, поднимается все выше и выше, отделяется от земли. Голос его звенел, широко открытые глаза смотрели куда-то вдаль, как будто сквозь стену, туда, в ему одному открытое будущее,

которое он так пламенно описывал очарованным, околдованным, боящимся перевести дух слушателям.

Тогда он действительно казался пророком, и слушатели свято верили, что он «носитель мысли великой».

«Зеленая лампа» заставила многих слушателей (слушателей действительно бывало много, особенно когда заседания происходили в зале «Плейель») серьезнее и лучше понять происходящее и – что не менее важно – самих себя.

«Воскресенья» и «Зеленая лампа» воспитали ряд молодых поэтов, научив их не только думать, но и ясно высказывать свои мысли. Ведь большинство воскресных «заговорщиков» выступали с докладами, предварительно обсуждавшимися на 11-бис, рю Колонель Боннэ, и принимали участие в прениях.

Из всех посетителей «воскресений», кажется, только я одна ни разу не прочла в «Зеленой лампе» доклада, никогда не участвовала в прениях и даже с места не подавала реплик. Все же я, по настойчивому требованию Мережковского, выступила один раз на большом вечере «О любви», двойном вечере в зале «Плейель».

Слушателей собралось на такую интересную для всех тему видимо-невидимо.

Не скрою, что я, как, впрочем, большинство французских ораторов, написала свою речь и выучила ее наизусть, не раз старательно прорепетировала перед зеркалом жесты и мимику. И неожиданно «блеснула красноречием» – ко всеобщему удивлению.

Мережковский даже заявил на последовавшем после вечера «О любви» «воскресеньи», что «речь Одоевцевой была лучше всех». Что, конечно, никак не соответствовало истине. Просто он был удивлен, что и я могу что-то сказать, что-то соображаю. Моя внешность и мой тогдашний легкомысленный вид как будто противоречили этому.

Сам Мережковский произнес на первом вечере блестящую речь:

– Миром правят Нейкос и Филотес, Распря и Дружество – учит Эмпедокл. Или – противоположное, созвучное: Эрос и Эрис, Любовь и Ненависть, Мир и Война. Язва убийства война; язва рождения – Содом. Пол с войной пересекается... Кровь сначала загорается похотью, а потом льется на войне...

– Благодарю Тебя, Господи, что я никого не родил и никого не убил. В этой, несколько странной для непосвященных молитве, русский ученик Платона, Вл. Соловьев, соединяет эти две язвы в одну...

– И я поэтому с Соловьевым! – воскликнул Мережковский, ударяя себя в грудь.

Не обошлось и без курьеза. На втором из этих вечеров выступила Тэффи ведь это был полный парад-алле и смотр всех, посещавших «воскресенья».

Тэффи, должно быть сознавая всю ответственность предпринятого ею дела, взялась за него даже слишком глубокомысленно и написала целый ученый доклад – об аскезе.

Когда она в нарядном красном платье появилась на эстраде, в зрительном зале все радостно встрепенулись и заулыбались – наконец-то можно будет посмеяться!

И действительно с первой фразы Тэффи об аскезе, с первой, с трудом произнесенной ею греческой цитаты раздался то тут, то там смех. Должно быть, некоторым слушателям показалось, что это все очень забавно и остроумно, а они одни не понимают такого тонкого юмора. И они на всякий случай стали смеяться.

Тэффи, разложив перед собой большие листы, исписанные ее крупным, неровным почерком, торопливо читала, напрягая голос, чтобы перекричать смех, свой длиннейший обстоятельный доклад. Начала она с языческого аскетизма, всесторонне разобрала египетский

монакизм и его три стадии, приведя ряд греческих и латинских цитат.

Она, наконец, после подробного описания жизни св. Антония, сделанного Апаназом (в ней должное место было отведено и свинье св. Антония), перешла к различным мифам, посвященным отцам-пустынникам. О том, как львы похоронили св. Павла в пустыне, о том, как лев – должно быть, уже другой, не из компании тех львов-могильщиков – уступил св. Мальку свою пещеру, о крокодиле, переправившем на своей спине какого-то пустынника через Нил, о картине Веласкеса, изображавшей ворона, принесшего спорящим монахам-аскетам, забывшим среди молитв и споров о Боге подкрепиться монастырской трапезой, хлеб. Теперь хохотал уже весь зал.

Бедная Тэффи все же мужественно дочитала свой ученый доклад. Дочитала до самой последней точки, не пропустив ни одной цитаты.

И слушатели устроили ей грандиозную овацию.

– Ах, уж эта Надежда Александровна! Ну кто, кроме нее, может придумать такое смешное? – восторженно повторяла седая дама меценатской внешности, отбивая свои пухлые, украшенные бриллиантами руки.- – Ах, до чего, до чего смешно! Даст же Бог такой талант человеку!

Тэффи вошла в артистическую красная, краснее своего красного платья, и, остановившись на пороге, развела руками:

– Слышали? Я когда-то, еще до революции, написала рассказ об аптекарском ученике Котомко. читавшем на концерте свои стихи и не понимавшем, почему слушатели хохочут. «Покажи им Венеру Милосскую, так они, наверное, лопнут от смеха», – рассуждает он про себя. Вот и я сейчас моего Котомку разыграла. – Она швырнула рассыпавшиеся листы на пол. – А

сколько мне труда и времени эта проклятая аскеза стоила! Нет, в первый и последний раз в жизни читаю доклад. Дайте лимонаду. Даже горло пересохло.

В антрактах Гиппиус, улыбаясь, объясняла подходившим к ней, что ей доклад Тэффи многое открыл.

– Я благодарна Надежде Александровне. Очень благодарна. Я поняла то, чего раньше не понимала, не хотела понять. – И, понизив голос, полушепотом: – Не об аскезе, нет. Я впервые из-за Тэффи оценила здравый смысл дедушки Крылова, поняла, что и он бывает прав. Да еще и как:

Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник.

Гиппиус и Тэффи не очень симпатизировали и охотно критиковали друг друга, конечно, за глаза.

Но Тэффи все любили. И читатели, и знакомые, и друзья. Я никогда никого не встречала, относившегося к ней плохо. Тогда как Гиппиус многие терпеть не могли. Ее не мог терпеть, прямо ненавидел даже очаровательный Андрей Седых, один из самых милых и добрых людей эмиграции. Правда, она действительно скверно поступила по отношению к нему.

В 30-х годах «Зеленая лампа» уже не горела ослепительно и не проливала яркого света на эмиграцию, освещая ее совесть душу, ум. Все, не исключая Мережковского и Гиппиус, чувствовали, что «заговор» не удался, хотя они и не сознавались в этом не только публично, но даже самим себе.

Некоторые участники «Зеленой лампы» покинули ее. Так, ушел Ходасевич. Уход Ходасевича был воспринят очень болезненно – Ходасевич был одним из ярких лучей «Лампы». Уход его стал считаться

«изменой», и отношения между ним и Гиппиус-Мережковским охладились навсегда.

Все же «Лампах» все более сокращая круг своей деятельности, просуществовала до самой войны. Роль ее была значительно большей, чем принято считать. Конечно, она не достигла цели, к которой стремились Мережковский и Гиппиус. Все же она оставила по себе светлую память и сформировала умы целого ряда молодых поэтов. Кроме всего прочего, «воскресенья» и «Зеленая лампа» являлись настоящей школой красноречия.

Когда-то, еще на берегах Невы, в «Живом слове» я слушала лекции Кони по ораторскому искусству и принимала участие в практических занятиях, руководимых Кони. Но обмен мыслей и мнений на «воскресеньях» и в «Лампе», хотя там и не преподавались правила красноречия, достигал несравненно больших результатов, чем лекции и практические занятия Кони.

Общепризнанный лучший оратор эмиграции Георгий Адамович многому научился в «Лампе» и в бесконечных дискуссиях с Мережковским. «Зеленая лампа» всячески старалась привлечь к себе внимание, в особенности в последние годы своего существования. Так, уже в 1936 году «Зеленая лампа», «Возрождение» и варшавская газета «Меч» – в обеих газетах сотрудничали Мережковский и Гиппиус – устроили «всезарубежный конкурс» на историческое драматическое произведение. Премированное драматическое произведение обещали поставить в варшавском театре и напечатать в газете «Возрождение». Кроме того, автор должен был получить диплом.

Но с этим конкурсом получился «скверный анекдот»: первый приз, после многих месяцев, был присужден драме «Государь», – из эпохи итальянского Ренессанса, о чем сообщалось в газете «Меч». Написала

ее шестнадцатилетняя эмигрантка, жившая в Сирии. Она, как она потом сама мне рассказывала, находилась только под большим влиянием Мережковского и Макиавелли и написала свою драму, помня о них.

Когда до нее дошла ошеломившая ее весть о том, что ей присужден первый приз, она, как древняя Рахиль, села на песок пустыни, благословила облака и поблагодарила Бога за ниспосланную ей славу.

Но время шло – день за днем, неделя за неделей. Ее лично никто ни о чем не осведомлял. Тогда она наконец решилась написать в варшавский «Меч», ответивший ей более чем необычайно: «Вас действительно премировали. Но Вашу драму поставить невозможно из-за множества костюмов. Поэтому высылаем Вам, в виде премии, том Фонвизина и диплом с печатью».

Том Фонвизина и похвальный лист – как в школе при переходе из класса в класс – вот и все, что получил молодой автор, думавший, что уже завоевал славу.

Драма «Государь» не была напечатана в газете «Возрождение» – неизвестно почему. Ведь «обилие костюмов» не могло помешать напечатать ее.

Результатом этого конкурса было только то, что русская эмиграция лишилась замечательно талантливой писательницы. Она после такой обиды стала писать не только по-русски, но и по-французски. Теперь она один из лучших если не лучший – автор «научной фантастики», – Наталия Энненберг.

Все же через много лет как утешение она узнала от Цурикова, что Мережковский как-то сказал ему: «Моя лучшая ученица – маленькая девочка из Сирии». При мне однажды Мережковский, жалуясь, что у него нет последователей, поправил самого себя:

– Кроме одной, до чего одаренной, прелестной, большеглазой девочки. Я ее фотографию видел. Но

ведь она живет в Сирийской пустыне. Вот бы ее к нам выписать!

Уже после войны, в Париже, Наталия Энненберг услышала чрезвычайно фантастическое объяснение этого дела. Якобы жюри, так как пьесы были подписаны не именами авторов, а их девизами, решило, что она принадлежит перу... самого Мережковского! Но, вскрыв конверт с девизом и убедившись в своей ошибке, жюри решило, что ни ставить драму никому не известного подростка, ни публиковать ее в «Возрождении» нет никакой надобности. Довольно девочке и тома Фонвизина.

Не думаю все же, что жюри могло быть настолько наивным и считать возможным, чтобы Мережковский посылал свои произведения на конкурс. Должно быть, существует другое объяснение. Но факт остается фактом – из-за этого конкурса еще одна замечательная писательница не стала украшением русской литературы.

Георгий Иванов был бессменный председатель собраний «Зеленой лампы», Гиппиус и Мережковский тогда уже, после выхода его сборника стихов «Розы», провозгласили его первым русским поэтом. Мережковский даже сделал ему надпись на «Атлантиде» – «Лучшему поэту современности». Да, Георгий Иванов был очень близок с ними, особенно с Гиппиус. Я же никогда ни с Гиппиус, ни с Мережковским не сближалась, хотя всегда оставалась с ними в самых лучших отношениях и усердно посещала «воскресенья» и собрания «Зеленой лампы».

Меня не так интересовали идеи, высказываемые на 11-бис, рю Колонель Боннэ, как сами Гиппиус и Мережковский. Я не переставала удивляться им обоим. Вид Мережковского, в особенности в дни, когда ему нездоровилось и он казался особенно бледным, изможденным и тщедушным, всегда заставлял меня вспо-

минать чье-то определение Жозефа Жубера: «Он был только душой, встретившей хилое тело, душой, сумевшей подчинить себе это хилое тело...» Мережковский всегда казался мне более духовным, чем физическим существом. Душа его не только светилась в его глазах, но как будто просвечивала через всю его телесную оболочку.

У Зинаиды Николаевны, напротив, душа как будто пряталась где-то глубоко в теле и никогда не выглядывала из тусклых, затуманенных глаз.

Она была чрезвычайно (некоторые даже находили – чрезмерно) умна. Хотя я никогда не понимала, как можно быть «чрезмерно умной». По всей вероятности, она была гораздо умнее Мережковского (как многие утверждали). Но и тут я не берусь судить – ведь ум состоит из стольких разнообразных и часто противоречивых элементов, что суждение об уме не может не быть субъективным. Все зависит от того, что считаешь главным в уме.

Зинаида Николаевна была совершенно лишена энтузиазма, вдохновения и способности восхищаться чужими мыслями. У Мережковского же страсть к восхищению выражалась иногда даже комично.

Так, например, ведя как-то беседу с молодым поэтом Заковичем, он вдруг весь насторожился, встрепенулся, протянул к нему руку и воскликнул:

– Совсем как Тертуллиан! Будто не Закович, а Тертуллиан говорит! Зина, нет, ты только послушай! Послушай!

Но Закович, недавно лишь приведенный Поплавским на «воскресенья», скромный и застенчивый молодой поэт, так смутился, что не мог больше связать и двух слов, и только испуганно оглядывался на Поплавского.

После этого случая Мережковский долгое время называл Заковича Тертуллианом.

– Придет сегодня Тертуллиан? – спрашивал он, выходя из своего кабинета к уже собравшимся в столовой гостям. Он всегда выходил с опозданием, тогда как Зинаида Николаевна с самого начала приема, то есть с четырех – часов, уже занимала свое место за чайным столом.

Мережковский был очень, даже чересчур снисходительным к своим собеседникам, преувеличивал их ум и знания и часто находил особую значительность и глубину в самых обыкновенных мыслях и словах, если только они, по Мережковскому, касались метафизики, и он мог оттолкнуться от них, как от трамплина, перелететь в четвертое или в энное измерение, рассыпаясь фейерверком идей.

Глубину, мудрость, мистику он видел часто там, где их вовсе не было, так он однажды неожиданно обнаружил их и во мне. В то воскресенье почему-то решили читать стихи, что не было принято. Стихи читали и о стихах говорили с Зинаидой Николаевной группировавшиеся около нее и не принимавшие участия в дебатах с Мережковским.

Но тут устроили «всеобщий день поэзии», и все присутствующие, не исключая и самого Мережковского, должны были участвовать в нем.

День поэзии происходит в гостиной, поэты выходят на середину комнаты и читают стоя. Я сижу на диване рядом с Зинаидой Николаевной в ожидании своей очереди.

– Вы не застали, – говорит она, – эпохи, когда Димитрий Сергеевич гремел как поэт. Всякие «Сакья Муни», «Песни шута» и тому подобное. Гремел, но гром-то был бутафорский. И до чего он иногда громыхал. О какой-то своей изменнице, еще до меня. Я до слез сме-

ялась. Вот послушайте... И она скандирует с комическим пафосом:

Но если б ты могла понять, какая сила
Была у ног твоих, когда со мной шутя
Играла ты в любовь и все потом разбила.
Не я, а ты в отчаянье немом
Рыдала бы теперь горючими слезами.

– А публике, представьте, нравилось, и критике тоже. И его переводы, Бодлера, например, были под стать:

Голубка моя, умчимся в края,
Где все, как и ты – совершенство!

Он приспособил Бодлера для шарманки. И все шарманки эту «Голубку» играли. Мне было стыдно за него. Она прижимает палец к губам.

– Сейчас Димитрий Сергеевич. Давайте слушать.

Мережковский, держа тетрадку в руке, быстро семеня ногами в синих войлочных туфлях, становится спиной к окну – маленький, сутулый.

Я мысленно переношу его в Петербург конца XIX века, на эстраду громадного, бурлящего и кипящего зала, переполненного студентами и курсистками, и стараюсь представить себе, как он произносил:

Бог, великий Бог лежал в пыли
и овации, которые там устраивали ему.

Он перелистывает страницы тетрадки и с какой-то застенчивой полуулыбкой, не свойственной ему, начинает читать – очень скромно, очень просто и совсем хорошо. И стихи его очень простые, очень скромные и совсем хорошие. Музыкальны, легки и даже чуть-чуть

трогательно наивны. О каких-то странниках-паломниках и о прелестной северной русской весне. Они чем-то отдаленно напоминают мне Сологуба.

– Вам нравится? – спрашивает шепотом Гиппиус.

– Очень.

Она кивает.

– Слава Богу, это совсем не то, что прежде. Но теперь это никому не нравится. Димитрий Сергеевич уже давно перестал печатать свои стихи.

После Мережковского читает Гиппиус. С места, сидя на диване. Нараспев. Ясно, сухо, вразумительно, без привычных капризных ноток в голосе:

Какая-то лягушка (все равно)
Свистит под небом черновлажным
Заботливо, настойчиво, давно...
А вдруг она о самом важном?

Лягушку мы все знаем наизусть. Хотя аплодировать не полагается, Зинаиде Николаевне все же аплодируют, и это ей явно приятно.

Поэты сменяют поэтов. И о каждом из них Гиппиус – она одна – говорит несколько слов. Она хвалит Адамовича, Мамченко, Терапиано за стихи «В день Покрова» и, конечно, Георгия Иванова.

Голубоватый идет солдат,
Как этот вечер, голубоват,

нараспев выкрикивает один из молодых поэтов.

Зинаида Николаевна наводит на него свой монокль-лорнет и громко шепчет:

– А по-моему, еще лучше было бы: «как этот вечер, глуповат».

Все смеются. Молодой поэт смущается и не хочет продолжать.

– Вздор, – заявляет Гиппиус, – вы не салонная поэтесса, чтобы обижаться. И без всякой последовательности продолжает: – Ко мне раз явились в Петербурге просить стихи для салонного женского альбома, а я им ответила: по половому признаку не объединяюсь! – И кивает в сторону молодого поэта: – Ну, читайте. Не ломайтесь.

Наконец очередь доходит и до меня. Я выхожу на середину гостиной, еще не решив, что буду читать. Я уже совсем не та, что на берегах Невы. Я уже не живу стихами и для стихов и не ношу больше банта. Здесь и то, и другое было бы неуместно и даже смешно.

Здесь стихами интересуются одни поэты, и то эгоистично, даже эгоцентрично – своими собственными стихами. А читателям стихи в лучшем случае безразличны и не нужны.

Русские в эмиграции – и в Берлине, и в Париже – совсем не то, что в Петербурге. Я не узнаю их. И не нахожу с ними общего языка.

Сколько раз я в первый год, в Берлине, хотела вернуться к себе домой. Домой, в Петербург. Нет, мне совсем не нравится «заграница». Ни Берлин, ни даже Париж.

К тому же, и это очень странно, для меня в эмиграции время как будто пошло назад, вспять. Я как будто неожиданно помолодела. Из поэта настоящего, поэта, возраст которого не играет роли, я тут превратилась в «молоденькую поэтессу» и «молодую романистку», как меня постоянно величали в прессе. И что уж совсем дико – я так и оставалась «молодой поэтессой» и «молодой романисткой» бесконечно долго, чуть ли не до окончания войны. Со мной в эмиграции случилось обратное, чем с гадким утенком в сказке Андерсена. Гадкий утенок там превратился в лебедя, я же, напротив, из «лебедя» превратилась в «гадкого утенка».

Вот и сейчас, стоя посреди гостиной, я чувствую, что слишком высоко поднимаю голову и держусь слишком самоуверенно для «гадкого утенка». Я все еще не могу привыкнуть ко всеобщему равнодушию, окружающему меня здесь.

Что мне читать? Ведь здесь никто не знает и не любит моих стихов. Только не слишком длинное. Скоро Рождество – значит, это пойдет.

И я начинаю с моими прежними интонациями, паузами и жестами, как когда-то на берегах Невы:

Белым полем шла,
И странник шел со мной.
Он тихо сказал, качая
Белоснежной головой:
На земле и на небе радость
Сегодня Рождество...

Окончив, я возвращаюсь к дивану и сажусь рядом с Зинаидой Николаевной. Она наводит на меня свой лорнет-монокль и улыбается мне.

– Я не ждала, что вы так хорошо умеете выступать. Так независимо и гордо. Я сама когда-то выходила на сцену, как в тронный зал. Будто я королева, а слушатели – мои подданные. Я никогда не кланялась на аплодисменты, я принимала их как должное. Пусть себе хлопают, раз им хочется. Я не удостаивала слушателей вниманием.

К дивану подходит Димитрий Сергеевич и берет меня за руку.

– Я никак не предполагал, – взволнованно говорит он, – в вас такой глубины, такого мистического прозрения. Невероятно! Необъяснимо!

Я чувствую, что сейчас и я буду названа Тертуллианом, или Франциском Ассизским, или святым Бернаром, А может быть, даже Данте.

– Но ведь это совсем банально. Это все только бутафория, и дешевая... – протестую я. – Направо добро, налево зло... Это все рифмованная чепуха.

– Тогда еще замечательнее, раз вы сами не сознаете, что создали. Это... это прямо невероятно.

Я кусаю губы, чтобы не рассмеяться, и больше не спорю. Сейчас, сейчас он провозгласит меня Франциском Ассизским. Но Зинаида Николаевна неожиданно вмешивается.

– Как это у вас? Выползет черепаха, пролетит летучая мышь? Да? И что змея появляется – хорошо. У меня тоже когда-то было стихотворение про змею.

Я такая добрая, добрая,
Как ласковая кобра я...

– Зинаида Николаевна, прочтите, пожалуйста, о ласковой кобре, – прошу я. И она не заставляет себя долго просить, к общему, и главное – моему удовольствию.

Мережковский, слушая ее, забывает о моей «небывалой глубине и мистическом прозрении», и слава Богу.

Зинаида Николаевна медленно, грациозно встает с дивана.

– А теперь пойдем чай пить. Давно пора. И все переходят вместе с нею в столовую и усаживаются вокруг стола.

Владимир Ананьевич Злобин, как всегда, ловко и быстро наливает и разносит чай, успевая в то же время любезно предлагать гостям бисквиты и сдобные булочки, как будто он, а не Зинаида Николаевна здесь хозяйка – очень внимательная хозяйка.

Разговор становится общим. Сегодня, исключение из правила, рассуждают только о стихах. Георгий

Иванов проникновенно приводит цитату из Лермонтова, своего любимого поэта, восхищаясь ею:

В небесах торжественно и чудно,
Спит земля в сиянье голубом...

– Чушь! – перебивает его опоздавший на «День поэзии» Бахтин и, гордо закинув рыжеволосую голову, безапелляционно заявляет: – Лермонтов бездарность!

Меня такое заявление Бахтина не задевает и не удивляет. Я привыкла к его эксцентричным выпадам. Не далее как в прошлое воскресенье он заявил во всеуслышание, что «Еван гелие просто пустая книга, которой безумно повезло».

Но молодые поэты дружно и возмущенно хором протестуют, перекрикивая друг друга.

– Зина, посмотри, сколько он сахара кладет! – неожиданно среди шума и гула спорящих раздается возглас Мережковского. Указательный палец его вытянутой через стол руки указывает прямо на Георгия Иванова, действительно, как всегда, положившего пять кусков сахара в свою чашку чая.

Зинаида Николаевна поворачивает голову к Георгию Иванову, занимающему свое обычное место возле нее, с правого слышащего уха.

– Очень правильно делает, – говорит она одобрительно. – Необходимо хоть немного подсластить нашу горькую жизнь и наш горький чай. Ведь как скучно: и разговоры, и чай, и обед, все одно и то же. Каждый день. Не только в Париже, но и прежде, там, в Петербурге, еще до революции. Всегда одно и то же, говорили, ели и пили. Я как-то на одном обеде Вольного философского общества сказала своему соседу, длиннобородому и длинноволосому иерарху Церкви: «Как скучно! Подают все одно и то же. Опять телятина!

Надоело. Вот подали бы хоть раз жареного младенца!» Он весь побагровел, поперхнулся и чуть не задохся от возмущения. И больше уж никогда рядом со мной не садился. Боялся меня. Меня ведь Белой Дьяволицей звали. А ведь жареный младенец, наверное, вкуснее телятины.

– Это как у Свифта? Жареные ирландские младенцы? – спрашиваю я.

Зинаида Николаевна недовольно щурится. – Свифт? – недоумевающе тянет она. – При чем тут Свифт? Я вообще его никогда не читала!

Я удивлена. Я спрашиваю:

– Даже «Гулливера»? Неужели? Никогда?

Но она делает вид, что не слышит. Я испортила своим неуместным вопросом о Свифте эффект «жареного младенца». Она недовольно щурится и неожиданно обращается к Злобину:

– Чай пить, правда, скучно. Володя, достаньте из буфета нашего «moine miraculeux»[11].

Ликер «Le moine miraculeux» – единственный ликер, признаваемый Мережковскими. Они приписывают ему какие-то чудодейственные целительные свойства.

Но пьют его на 11-бис, рю Колонель Боннэ только по большим праздникам, и то не все гости, а лишь избранные, по одной рюмочке, не больше. И сейчас, как всегда, Зинаида Николаевна указывает, кого следует угостить «чудодейственным монахом».

– Володя, налейте рюмку Георгию Викторовичу Адамовичу, Георгию Владимировичу (Иванову), Виктору Андреевичу (Мамченко), Юрию Константиновичу (Терапиано). И Бахтину. Остальным – в том числе и мне – «монаха» не полагается. Я, впрочем, все равно отказалась бы от него. Я еще не научилась пить ни

[11] «Чудодейственный монах» (фр) – название ликера.

ликеры, ни водку. Но раз мне не предлагают, то и отказываться не приходится. Как и обижаться не приходится.

В прихожей раздается звонок. Злобин идет открывать. Зинаида Николаевна прислушивается, вытянув шею, к доносящимся из прихожей голосам.

– Это Александр Федорович, – объясняет она. – Он сегодня обедает у нас. И спрашивает: – Который час? Разве уже так поздно?

Уже восемь часов. Мы непозволительно засиделись. Все разом встают. Как всегда, Зинаида Николаевна и Мережковский идут провожать гостей.

В прихожей Керенский. Он успел снять пальто и поправляет галстук перед зеркалом.

Я впервые вижу Керенского так близко. Я знакома со многими знаменитыми людьми, но с таким знаменитым человеком, как он, мне еще не приходилось встречаться. С таким знаменитым – был ли кто-нибудь знаменитее Керенского весной и летом 1917 года?

Правда, с тех пор прошло десять лет, но мне кажется, что отблеск его прошлой славы все еще окружает его сиянием.

Он здоровается с Зинаидой Николаевной, с Мережковским, и со всеми «воскресниками», даже с теми, кого, как меня, он видит впервые, крепким рукопожатием.

Рукопожатия. Я вспоминаю, что ему пришлось носить правую руку на перевязи в июле 1917 года после тысяч рукопожатий. Неужели таких же крепких, как сейчас?

Пожимая руки, он бросает властно и отрывисто, как будто отдает приказания: «Здравствуйте! Как поживаете? Рад с вами познакомиться».

Прищуренные глаза, как две щели на большом, широком, массивном лице. Густые серо-стальные волосы бобриком и какая-то военная выправка, хотя он до

своей головокружительной карьеры был штатским – петербургским помощником присяжного поверенного Сомова.

Мне кажется, что, несмотря на свой громкий голос и резкие движения, он очень застенчив. Хотя вряд ли он кому-нибудь сознается в этом, даже себе.

Он чрезвычайно близорук, но из непонятного кокетства не желает носить очки или пенсне. Вместо очков он пользуется, как мне рассказывали, лорнеткой. Мужчина с лорнеткой для меня так же немыслим и невероятен, как женщина с моноклем.

Но вот они – женщина с моноклем и мужчина с лорнеткой, должно быть, единственные назовете – стоят здесь рядом передо мной.

Керенский действительно достает из бокового кармана пиджака тоненькую дамскую лорнетку. В памяти моей всплывают строки Кузмина о маркизах:

Кто там выходит из боскета
В жилет атласный затянутый?
Стекла блеснули его лорнета...

Да, стекла лорнета Керенского блестят, но Керенский совсем не похож на маркиза.

Лорнетка кажется особенно хрупкой, игрушечной в его увесистом кулаке. Он подносит ее к глазам, и от этого его массивное, широкое лицо принимает какое-то странное, жалкое выражение – не то стариковское, не то старушечье.

Лорнеткой, правда, как я слыхала, он на улице не пользуется, хотя по близорукости ему и очень трудно обходиться без нее. Он не узнает знакомых, не отвечает на поклоны. О нем рассказывают, что он однажды, быстро переходя улицу Пасси – он всегда ходит очень быстро, всегда спешит, – натолкнулся на автомобиль и,

приподняв шляпу, вежливо извинился: «Пардон, мадам». Но это, конечно, анекдот.

Я внимательно, во все глаза разглядываю его. Ведь это тот самый Керенский, воплощавший свободу, тот самый, кого боготворили толпы, тот самый, под чьей фотографией красовалась подпись:

Его, как первую любовь,
России сердце не забудет.

Если бы я вела дневник, я в тот вечер, вернувшись домой, записала бы на чистой странице: «Сегодня я познакомилась с Керенским». И поставила бы точку.

Но я не вела дневника. Эту первую встречу с Керенским я записала в своей памяти. Без комментариев.

– Человек почти всегда добивается того, о чем мечтает, чего страстно желает, беспрестанно, днем и ночью, во сне и наяву, каждую минуту. Например, «как я хочу получить Нобелевскую премию», – убежденно произнес на одном из «воскресений» на 11-бис, рю Колонель Боннэ Димитрий Сергеевич Мережковский.

О том, что он страстно желает получить Нобелевскую премию, знали все посетители «воскресений». Мережковский не скрывал, а даже, скорее, подчеркивал свое желание. Он считал, что Нобелевская премия по справедливости должна быть присуждена ему и он один достоин ее.

– Бунин? Но разве можно считать Бунина серьезным конкурентом? Он просто бытовик, бытописатель, надоедливо и скучно фотографирующий скучные мелочи существования вперемежку с надоевшими всем давно закатами, снегопадами, дождливыми вечерами и заходами солнца. Кому это нужно? Кому это интересно? «Жизнь Арсеньева»? – безмерно растянутое описание молодости никчемного дворянского недоросля, к

тому же перегруженное описаниями природы. Ну, еще два-три томика всяких нудных рассказов и хваленая «Деревня». – Ее Мережковский, о чем он любил поминать, так и не мог одолеть. – Каждый раз засыпал от скуки на двадцатой или тридцатой странице, как ни старался. Пришлось бросить, – он вздыхал с притворным огорчением и добавлял: – Все же я постоянно держу эту самую «Деревню» на ночном столике – на случай бессонницы. Великолепно помогает!

Нет, положа руку на сердце, Мережковский не считал Бунина серьезным конкурентом:

– Ведь не совсем же идиоты судьи, не слепые же кроты они! Разве можно сравнивать меня и Бунина?!

И все же его тревожили и беспокоили слухи о кампании, ведущейся в пользу Бунина. В ней участвовало столько «именитых» эмигрантов с Густавом Нобелем и Конжунцевым во главе. Да и среди писателей не все были сторонниками Мережковского, хотя бы тот же Алданов, ведший яростную кампанию в пользу Бунина среди своих «иностранных коллег» – не только французов, но и шведов.

Быть вполне уверенным, что Нобелевская премия достанется ему, а не Бунину, Мережковский все же не мог и считал, что лучше обеспечить себя на всякий случай.

Однажды, весной 1932 года, Мережковский на одном из «воскресений» предложил Бунину (Бунин, Вера Николаевна и Галина Кузнецова во время своих наездов в Париж из Грасса изредка навещали «воскресенья» Мережковского):

– Давайте, Иван Алексеевич, заключим пакт. Если мне достанется Нобелевская премия, я вам отдам половину, если вам – вы мне. Поделим ее пополам. Застрахуемся взаимно. Тут, в присутствии их всех, – он

обвел взглядом сидящих за столом. – Дадим друг другу честное слово, что поделим премию.

Но Бунин решительно покачал головой.

– Ну уж нет, Дмитрий Сергеевич. Не согласен. Заранее заявляю – делиться и не подумаю. Вам присудят – ваше счастье. Мне – так мое.

Мережковский на минуту весь даже съежился, глаза его и все лицо поблекли и затуманились, будто в нем погас свет, освещавший его изнутри.

Он, по-видимому, никак не ожидал такого решительного резкого отказа на свое великодушное (ведь премия, по всей вероятности, достанется именно ему) предложение.

– Воля ваша, – проговорил он хрипло, превозмогая обиду. – Боюсь только, что вы пожалеете, и очень, что так опрометчиво...

Но Бунин, удобнее откинувшись на спинку зеленого кресла, широко и свободно взмахнул рукой.

– Ну, что там гадать на кофейной гуще. Поживем – увидим. А связывать себя обещаниями я всегда терпеть не мог. И страховок не признаю, – и закончил убежденно: – А в звезду свою я верю!

В январе 1934 года, вернувшись из Риги, где мы с Георгием Ивановым провели год, мы отправились к Мережковским на «воскресенье». Не успела я поздороваться со всеми и ответить на многочисленные вопросы Зинаиды Николаевны, как раздался звонок и в столовую вбежал взволнованный, растерянный Злобин, звонко крича:

– Бунин!

Минута замешательства.

Это действительно была историческая минута, и все сразу почувствовали ее значение.

Бунин недавно вернулся из Стокгольма. И это был его первый (и последний) визит к Мережковским. От-

ветный визит: Мережковский еще до отъезда Бунина в Стокгольм для получения Нобелевской премии ходил поздравлять его в отель «Мажестик». Но не застал.

– Не был принят. Не удостоился лицезреть, – уверяла Зинаида Николаевна. – Понятно – зазнался Иван. Теперь уж он к нам ни ногой.

И вдруг Бунин, «сам Бунин», во всем сиянии и блеске своего величия и славы...

Шум отодвигаемых стульев. Все, за исключением одной Зинаиды Николаевны, встали и почтительно замерли на своих местах.

Мережковский, побледнев до пепельной серости, вскочил и еще больше сгорбившись, суетливо, почти вприпрыжку бросился встречать.

Казалось, даже тусклая лампа над столом засветила ярче, когда в столовую легко, твердо и не спеша вступил, держась необычайно прямо, ново-нобелевский лауреат. Его худое, бритое лицо с зоркими глазами, с чуть презрительно сжатыми тонкими губами выражало царственную, высокомерную благосклонность.

За ним, придавая еще большую торжественность его появлению, скромно шли Вера Николаевна и Галина Кузнецова.

Зинаида Гиппиус одна среди этого моря почтительного волнения сохраняла спокойствие и хладнокровие, внимательно рассматривала вошедших сквозь стекла свое лорнета. Грациозно подавая руку Бунину, она протянула лениво:

– Поздравляю, – добавив после короткой паузы: – И завидую.

Она здоровается с Верой Николаевной и Галиной Кузнецовой, в упор уставляя на них свой лорнет.

– Какое на вас красивое платье, Вера Николаевна, – растягивая слова, произносит она, – верно, страшно дорого стоило? – улыбка в сторону Галины

Кузнецовой. – И на вас тоже... С каким вкусом и, верно, тоже страшно дорогое... Садитесь возле меня, Иван. Мне так интересно услышать, как вас приветствовал шведский король и как он вам кланялся.

Бунин, перед тем как занять место около нее, с той же царственной благосклонностью обошел всех, принимая поздравления. Я удостоилась даже его картавого передразнивания.

– Здрравствуйте, здрравствуйте. Страшно пррриятно вас видеть.

Галина Кузнецова садится возле меня. Я очень люблю Галину и всегда рада встрече с ней. Она смотрит на меня своими прелестными, грустными глазами и тихо вздыхает:

– Ах нет, Ириночка, совсем не так чудесно, как вам кажется, – это было очень утомительно. И беспокойно. Новый год мы встретили в поезде. На обратном пути Иван Алексеевич хотел непременно в Германии заехать к Степуну. Я простудилась. И там...

Я слушаю ее взволнованный, милый, чуть задыхающийся голос. До чего она вся мила. В ней что-то невинное, трогательное, девичье, какой-то молодой «трепых», особенно очаровательный не у девушки, а у женщины. Русский молодой «трепых». У иностранок его не бывает.

Бунин красноречиво описывает свою поездку в Швецию, Церемонию получения премии.

Мережковский, успевший овладеть собой, пускает в него несколько отравленных стрел, плохо закамуфлированных лестью. Недолет. Перелет. Ни одна стрела не попадает в цель. Бунин просто не замечает их и отвечает на вопросы Мережковского с той же величавой благосклонностью.

Снова звонок. На этот раз двери открывает прислуга, а не Злобин, весь ушедший в свою роль jeune fille de

la maison – в угощение «высоких гостей» чаем, печеньем и появляющимся только по большим праздникам ликером «moine miraculeux».

Из прихожей быстро входит известный художник X., останавливается на пороге и, устремив взгляд на сидящего в конце стола Мережковского, как библейский патриарх, воздевает руки к небу и восклицает:

– Дождались! Позор! Позор! Бунину дать Нобелевскую премию!

Но только тут, почувствовав, должно быть, наступившую вдруг наэлектризованную тишину, он оглядывает сидящих за столом. И видит Бунина.

– Иван Алексеевич! – вскрикивает он срывающимся голосом. Глаза его полны ужаса, губы вздрагивают. Он одним рывком кидается к Бунину: – Как я рад, Иван Алексеевич! Не успел еще зайти принести поздравления... От всего сердца...

Бунин встает во весь рост и протягивает ему руку.

– Спасибо, дорогой! Спасибо за искреннее поздравление, – неподражаемо издевательски произносит он, улыбаясь.

Я смотрюсь в зеркало в предпоследний раз и, как всегда перед отходом, недовольна собой. Всегда что-нибудь не так – или шляпа, или волосы, или платье, или выражение моего лица. Какой у меня сегодня нелепый вид.

Потом я об этом забуду, но сейчас я совсем не нравлюсь себе. Надо торопиться, я опять, как всегда, опаздываю. Я еду на коктейль к своим французским друзьям, они просили не опаздывать. Я ищу перчатки. Георгий Иванов уже снял с вешалки мою шубку и подает ее мне.

– Непременно приезжай в «Зеленую лампу», ты уже в прошлый раз не была. Прямо в «Лампу», если задержишься там. И позвони мне, чтобы я не ждал напрасно

дома. Непременно. Ты ведь знаешь, как я беспокоюсь о тебе.

Да, знаю, отлично знаю. Он вечно беспокоится обо мне. Зря беспокоится.

– Хорошо, хорошо, приеду в «Лампу», хотя мне и не очень хочется, – обещаю я, надевая шубку. И в эту минуту звонит телефон.

– Вот, меня уже и вызывают. Скажи, что я уже уехала. Он, кивнув, берет трубку.

– Алло? Алло? – до меня доносятся какие-то щелкающие звуки, но слов я разобрать не могу.

– Что? что? Повтори, – кричит Георгий Иванов срывающимся от волнения голосом. – Что случилось?

Нет, это не мои французские друзья. Что-то случилось. Но что?

Я в недоумении жду, не решаясь уйти, не узнав, в чем дело.

Наконец он вешает телефонную трубку.

– Только что убили президента, – говорит он. – Убил русский. Боятся, что начнется избиение русских. Ты никуда не поедешь – опасно. Я с ума сойду от страха, если ты уедешь.

Русский убил президента? Будут громить и убивать русских? Готовят Варфоломеевскую ночь? Да, уезжать мне действительно нельзя. И я соглашаюсь остаться. Георгий Иванов благодарит меня:

– Слава Богу, хоть ты благоразумна. Спасибо. А как быть с «Лампой»?

Снова звонит телефон. Это Оцуп. Он уже знает и в ужасе. Что нас всех ждет? Но он сегодня должен читать доклад в «Лампе». Состоится ли заседание или его отменят? – Решай, ведь ты председатель «Лампы». – Надо отменить, – говорит Георгий Иванов, – но я один, без Димитрия Сергеевича и Зинаиды Николаевны, решать

никак не могу. А у них нет телефона. Я ведь только липовый, номинальный председатель.

Телефон продолжает беспрерывно звонить. Звонит Адамович, Фельзен, звонят знакомые, интересующиеся «Лампой». И все в один голос:

– Отменить, слишком опасно. Ты (или вы) как постоянный председатель можешь (или можете) и без Мережковского. Но Георгий Иванов не согласен.

– Я пойду к нему. Ведь мне с Франклин до Колонель Боннэ совсем близко. А ты сиди тихо и жди меня. Я скоро вернусь. Но я не хочу оставаться одна. Нет, я пойду с тобой.

Он не сразу соглашается, но я настаиваю, и он, как почти всегда, уступает мне.

– Хорошо, только не говори по-русски и вообще молчи. И вот мы идем по гудящей и кипящей, обыкновенно такой буржуазно чинной и тихой улице Пасси. «...» – ясно доносится до меня. Я вздрагиваю. Неужели это о нас? Нет, это о русских вообще. Георгий Иванов ускоряет шаг. Мы почти бежим, но никто в толпе не обращает на нас внимания.

И вот мы уже входим в дом Мережковских. Дверь открывает горничная.

Мережковский стоит на пороге гостиной бледный, с перекошенным лицом и как будто еще больше сгорбившийся.

– Конец мира наступает, – торжественно произносит он, поднимая руку, – апокалиптический конец. Страшный...

Но Георгий Иванов сразу перебивает его.

– Димитрий Сергеевич, надо отменить «Лампу». И как можно скорее, ведь уже половина шестого.

– Отменить? – возмущенно говорит Мережковский и смотрит на него.

– Отменить? Но ведь это будет просто историческое заседание – в день убийства президента русским! И ведь все надо соборно обсудить. И решить, как в дальнейшем действовать. Нет, отменить невозможно. Это был бы просто позор, преступление. Опасно? Что же, что опасно, – отмахивается он от доводов Георгия Иванова. – Мы не презренные трусы. Мы должны исполнить наш долг.

Георгий Иванов оглядывает пустую гостиную.

– А где Зинаида Николаевна? Что она думает? Мережковский, уже подхваченный волной вдохновения, уносящей его за облака, снова сразу возвращается на землю.

– Она тоже считает, что необходимо отменить «Лампу». Она пошла вниз все узнать, убедиться в настроении, на улицу, прощупать пульс жизни. Она сейчас вернется и все расскажет. Тогда и решим.

– А Владимир Ананьевич где?

– Он с утра уехал в Ампер к больному знакомому. Мы садимся с ним на диван и ждем, слушая неубедительные уверения Мережковского о необходимости сегодняшнего исторического заседания «Лампы».

Проходит полчаса, а Зинаида Николаевна все не возвращается.

Георгий Иванов смотрит на часы.

– Что же это? Где она? Не случилось ли с ней чего? – спрашивает он встревожено.

Его тревога передается Мережковскому. – Она так неосторожна, могла вступить в разговор, заспорить с французами. Она так потрясена, не могла усидеть дома так захвачена этим чудовищным убийством...

Проходит еще полчаса.

Георгий Иванов встает.

– Я пойду вниз, поищу ее.

– Невероятно, неправдоподобно, я просто умираю от беспокойства, с ума схожу, – говорит Мережковский. – Идите, Георгий Владимирович. Идите.

Звонок. Георгий Иванов открывает дверь. В прихожую несвойственной ей быстрой и резкой походкой входит совершенно расстроенная Зинаида Николаевна. Даже перья на ее большой, криво сидящей шляпе както необычайно топорщатся.

– Ну что? Что ты узнала? – кидается к ней Мережковский. – Отчего ты так долго? Что случилось?

Но она, не отвечая ему и не здороваясь с Георгием Ивановым, возмущенно кричит:

– Все, все испортила! Все перешить надо! И юбка коротка, и рукава узки! И складок мало! И ко вторнику готово не будет!

...А заседание «Лампы» в тот вечер все же отменили.

Мережковский говорил, что биографии писателей и поэтов, как и воспоминания о них, чаще всего превращаются не в цветы, а в тяжелые камни, падающие на их могилу, придавливающие ее. Что о поэтах и писателях должны писать только поэты и писатели, и то далеко не все. И тут часто такие биографии и воспоминания становятся памятниками не тем, о ком они пишутся, а авторам их: Я и Толстой. Я и Пушкин. Я и Блок. Я и русская поэзия. В подтверждение права выдвигать себя на первое место приводятся письма своих друзей и почитателей.

– Не смейте писать обо мне! Не смейте приводить моих писем! – восклицал он, в порыве вдохновения потрясая рукой. – Запрещаю! Не вколачивайте меня в гроб! Я хочу жить и после смерти.

И все-таки я нарушаю этот запрет.

Но не для того чтобы «вколотить его в гроб», а для того чтобы помочь ему жить в сердцах читателей

таким, каким он был, а не таким, каким он кажется многим. Очистить, защитить его от клеветы и наветов.

Это нелегко. Трудно спорить с утверждающими, что он был «чудовищно эгоистичен и эгоцентричен», что он никого на свете не любил и не уважал, кроме «своей Зины», что ему на все и на всех было наплевать, только бы он и она могли пить чай – это казалось ему справедливым и естественным.

Да, он считал и ее, и себя исключительными людьми, для которых «закон не писан». Мораль – для других-прочих, для обыкновенных, а они могут поступать, как для них выгоднее и удобнее.

Удобства он чрезвычайно ценил. Его поступки совсем не должны совпадать с его «высокими идеалами» и могут идти вразрез с ними.

Как-то на одном из «воскресений» он допытывался у Адамовича, как тот мог написать хвалебную статью об одном из явно бездарных писателей:

– Неужели он правда нравится вам?

Адамович всячески старался отвертеться, уверяя, что в конце концов тот, о ком он писал, в сущности, не так уж плох. Но Мережковский не унимался, и Адамович, выведенный из себя, вздохнул и сознался:

– Просто из подлости, Димитрий Сергеевич. Он мне не раз помогал.

Мережковский радостно закивал:

– Так бы и говорили! А то я испугался, что он вам действительно нравится. А если из подлости, то понятно, тогда совершенно не о чем говорить. Мало ли что из подлости можно сделать!

Вот этим «из подлости» и объясняется его поведение во время войны, его так называемая измена России – «гитлерство», речи по радио и прочее.

На самом деле все это делалось только «из подлости» и не касалось его действительных взглядов и

чувств. Мережковские жили тогда, как и мы, в Биаррице, постоянно встречались с нами, и я могла наблюдать за всеми стадиями его якобы превращения из ярого ненавистника Гитлера в его поклонника.

Положа руку на сердце, утверждаю, что Мережковский до своего последнего дня оставался лютым врагом Гитлера, ненавидя и презирая его по-прежнему.

В спорах с Георгием Ивановым, считавшим, как и Черчилль, что «хоть с чертом, но против большевиков», Мережковский называл Гитлера «маляр, воняющий ножным потом».

Кстати, меня удивляет это его невероятное презрение к Гитлеру: он считал его гнусным, невежественным ничтожеством, полупомешанным к тому же.

А ведь он всю жизнь твердил об Антихристе, и когда этот Антихрист, каким можно считать Гитлера, появился перед ним, – Мережковский не разглядел, проглядел его.

* * *

Осенью 1932 года мы с Георгием Ивановым оказались в Риге, где жил мой отец. Нам совсем не хотелось покидать Парижа – там уже начался зимний сезон, и вечера и литературные собрания следовали один за другим. В те довоенные года литературная жизнь кипела и бурлила в Париже. Туда съехались почти все большие русские поэты и писатели, и Париж, а не Москву в шутку стали называть «столицей русской литературы». Уезжать из него нам казалось обидно.

Но мой отец смертельно заболел, и мне хотелось провести с ним его последние дни.

Я уезжала из Парижа в самом удрученном состоянии, с самыми мрачными предчувствиями. Но предчувствия, как почти всегда, обманули меня. Мой отец

встретил меня веселый и жизнерадостный. Он совершенно не походил на умирающего. Никаких болей он не испытывал и не подозревал о своем скором конце. Мой приезд был для него настоящим праздником, и он всячески старался устроить мою жизнь как можно лучше и приятнее: возил меня в рестораны и в театры и снял для меня и Георгия Иванова, чтобы мы чувствовали себя самостоятельными и независимыми, отличную меблированную квартиру – в ней до нас жил «сам Макс Рейнгард». Если бы не сознание неизбежности рокового конца моего отца, я бы чувствовала себя здесь совсем хорошо.

Мы провели в Риге целый год, и этот год, непохожий на длинную вереницу моих остальных эмигрантских лет, лежит в памяти моей, «как белый камень в глубине колодца».

Рига, нарядная столица Латвии, особенно пышно цвела и расцветала, доживая свои последние светлые дни перед гибелью.

Она вся утопала в садах и эспланадах, а Старый город, с его кривыми улочками, средневековыми зданиями и великолепной площадью Черноголовых придавал ей очень нравившийся мне, слегка сказочный вид.

В Риге обосновалась масса эмигрантов со всей России. Большинство из них, по-видимому, вполне сносно устроилось. Насколько я могла судить, лучше, чем у нас в Париже. Латышские власти не притесняли русских и относились к ним более чем сносно.

В Риге была отличная опера и драматический театр, где наряду с латышскими шли русские представления.

Вскоре после моего прибытия в Ригу, когда я еще жила на квартире отца одна – Георгию Иванову долго пришлось хлопотать о латвийской визе, и он приехал в Ригу только через месяц после меня – ко мне явилась интервьюировать меня для газеты «Сегодня» молодая

журналистка. Покончив с интервью, она передала мне привет от редактора Мильруда и приглашение «пожаловать поскорее в редакцию. И Петр Пильский тоже будет счастлив познакомиться с вами».

Принимая приглашение и обещая прийти, я неожиданно рассмеялась. Она удивленно взглянула на меня – что тут смешного? Но я не стала объяснять ей причину своего непонятного смеха, и она, получив от меня мою фотографию, так и ушла, явно недоумевая и, должно быть, считая «эту Одоевцеву очень странной».

А мой смех был вызван трагикомическими воспоминаниями о моем знакомстве с Мильрудом. Я не хотела о нем говорить, надеясь, что он начисто забыл его. Ведь это было так давно – целых десять лет тому назад!

Я снова смеюсь и, как говорил Андрей Белый, «с головой погружаюсь в свое прошлое».

...Вот я, только две недели тому назад покинувшая Петербург, здесь, в Риге, у отца. Я уже успела до отказа насладиться прелестями сытной рижской жизни и почувствовать, что мне здесь все-таки чего-то не хватает. Чего? Ну, понятно, «литературного амбьянса» – как это называлось у нас в Цехе, казавшегося мне тогда не менее необходимым, чем воздух. В Риге существует ежедневная газета «Сегодня» – я с удовольствием читаю ее каждое утро. Она ведется живо и интересно и вовсе не похожа на наши «Правду» и «Красную газету». Вокруг нее, должно быть, группируются поэты. Надо пойти в «Сегодня», познакомиться с ее редактором Мильрудом и отнести ему мои стихи в подарок – бесплатно. Он, наверное, будет очень рад появлению русского поэта, только что прибывшего из Петербурга, и познакомит меня со здешними поэтами.

Недолго думая, я переписываю три своих стихотворения, засовываю свой бант под замшевую круглую шапочку с помпоном, надеваю свое рыжее клетчатое

пальто – то самое из моих стихов о статуе в Летнем саду, – и отправляюсь знакомиться с Мильрудом.

Редакция газеты «Сегодня» помещается на захолустной Суворовской улице в старом скромном домике. Я вхожу и заявляю звонко щелкающей на пишущей машинке барышне, что желаю видеть редактора газеты Мильруда.

– У вас рандеву? – спрашивает она.

Я качаю головой.

– Нет.

Она удивленно поднимает подрисованные брови.

– Вы хотите видеть лично его? По какому делу?

– Без всякого дела. Я пришла с ним познакомиться. Я – Ирина Одоевцева, – не без гордости говорю я.

Но мое имя ей, по-видимому, незнакомо. Она еще выше поднимает брови.

– Вряд ли он вас примет. Но я пойду доложу ему. И она уходит. Я остаюсь одна, немного сбитая с толку. Не такого приема я ожидала. Впрочем, откуда этой маленькой рижской машинистке разбираться в делах поэзии?

Она возвращается и предлагает мне последовать за ней. Ну, конечно, иначе и быть не могло. И я поднимаюсь с ней по узкой обшарпанной лестнице на следующий этаж.

Редактор Мильруд сидит за большим некрашеным столом, заваленным бумагами, в пустоватой, бедно обставленной комнате. Он высокий и плотный, еще совсем нестарый и симпатичный на вид. Но меня он окидывает не приветливым, а скорее удивленным взглядом. Он слегка приподнимается, не предлагая мне сесть.

– Чем могу служить? Предупреждаю, что мы уже нашли машинистку и вакантных мест у нас в «Сегодня» больше нет...

Я сажусь на венский стул перед тем, как ответить.

– Нет, я не ищу места. Я пришла с вами познакомиться, Я – Ирина Одоевцева и принесла вам мои стихи.

Он слегка морщится:

– Стихи? Этого товару у нас и так больше, чем надо. Ни к чему нам. Вот маленький рассказик, если подойдет...

Я перебиваю его. Он, должно быть, не расслышал моего имени, и я повторяю отчетливо и громко:

– Я – Ирина Одоевцева и рассказов не пишу. Я – поэт Ирина Одоевцева.

– Как? Ирина Ода-овца? Простите, не слыхал... – и любезно кивнув: – А вы попробуйте. Авось вам удастся. Коротенький, фабульный рассказик. Мы против начинающих ничего не имеем. Даже поощряем. И небольшой гонорар заплатим, если возьмем. А теперь простите, – он снова приподнимается. – Очень занят, и уже вполне дружелюбно улыбнувшись: – До скорого! Надеюсь, с рассказиком!

Я встаю, стараясь совладать с собой, и, уничтожающе взглянув на него, отчеканиваю:

– Вам, редактору газеты, следовало бы лучше знать имена русских поэтов, – и, слегка поклонившись, гордо выхожу.

Спускаясь по лестнице, я крепко держусь за перила – только бы не полететь кубарем вниз от душащего меня возмущения. Но у меня же хватает самообладания, чтобы, проходя мимо машинистки, кивнуть и пожелать ей как ни в чем не бывало:

– Всего хорошего!

Дома я, уже не сдерживаясь, рассказываю отцу, как меня «оскорбил» Мильруд. Он остро переживает мою обиду – как и полагается горячо любящему отцу – и решает тут же больше не читать «Сегодня» и

прекратить его выписывать. Решение это он, впрочем, все же не осуществляет.

– Ода-овца, – повторяю я и снова смеюсь.

Это было десять лет тому назад, многое за эти годы переменилось, и «сама, покорна общему закону, переменилась я».

Да, я теперь совсем не та, что там, на берегах Невы. Даже мой бант казалось бы, составлявший часть меня самой, – давно исчез. Расставаться с ним мне было нелегко. Но я поняла, что здесь он просто невозможен.

Прошло несколько дней после моего интервью, и вот я иду в «Сегодня» вторично знакомиться с Мильрудом, надеясь, что о первом знакомстве с «Ода-овцой» он забыл.

Редакция «Сегодня» помещается теперь в фешенебельной части города в собственном большом, чрезвычайно безобразном особняке. Но внутри его все на удивление пышно и богато. И до чего непохоже на более чем скромную редакцию наших парижских «Последних новостей».

Меня, как только я назвала себя, вводят в огромный, роскошный кабинет Мильруда, и он сам уже идет ко мне настречу, сияя радостью.

– Наконец-то! Я уже заждался вас!

Он усаживает меня в глубокое удобное кресло.

И сразу же:

– А я уже боялся, что вы все еще не простили мне моего – помните приема десять лет тому назад.

О Господи, значит, он не забыл! А он продолжает:

– Я тогда же хотел извиниться перед вами. Ведь вы тогда имели и право и основание называть себя «русским поэтом». Мне это объяснил ваш горячий поклонник Максим Горький, превозносивший до небес ваши баллады и поэму о Луне. Но мне вы показались в вашей шапочке с помпоном удивительно забавным подрост-

ком с просто дьявольским апломбом. Вы с таким высокомерием заявили мне, что мне следовало бы лучше знать имена русских поэтов, что я просто остолбенел и долго потом без смеха не мог вспомнить о вас. Даже Максиму Горькому рассказал, думая посмешить его.

Лучше бы он об этом не вспоминал. Я киваю:

– Да. Я не могла не показаться вам смешной. Я тогда была чересчур самонадеянной и уверенной в себе. У меня еще не было понятия о табели о рангах, господствующей в эмиграции. Я еще думала и вела себя, как в Петербурге. Теперь я стала гораздо скромнее. С меня здесь успели сбить спесь. А вот вашему тогдашнему совету – попробовать написать рассказик, – я, как видите, последовала.

– И до чего удачно! Петр Нильский в восторге от ваших двух романов... И у нас, видите, – продолжает он, покончив с похвалами мне как прозаику, – и у нас здесь много переменилось за эти десять лет. И, слава Богу, к лучшему.

Он посвящает меня в тайны здешней литературной жизни и расспрашивает о парижских новостях и сплетнях, о «воскресеньях» на Колонель Боннэ у Мережковских, о Буниных. О том, у кого из них больше шансов на Нобелевскую премию.

.Но на этот вопрос я ничего не могу ответить, хотя, как и многие в Париже, считаю, что ее следует дать Мережковскому.

Мильруд и тогда, десять лет тому назад, с первого взгляда показался мне симпатичным, а теперь я вижу, что он действительно очень симпатичен и к тому же на редкость интересный и блестящий собеседник, все понимающий с полуслова.

Я с большим удовольствием провожу в его кабинете почти час, и он, по-видимому, тоже очень доволен этим первым контактом.

– А Петр Пильский придет в отчаяние от того, что он вас прозевал – ведь он ушел за несколько минут до вашего прихода. Боюсь, что он снова напьется с горя, – говорит он, провожая меня до выхода.

Я иду домой в самом радужном настроении. До чего же мое посещение редакции «Сегодня» непохоже на то – первое!

А дома меня ждал неожиданно приехавший во время моего отсутствия Георгий Иванов.

В Риге мы с Георгием Ивановым вели более светскую, чем литературную жизнь, что ему было совсем не по душе, – по-настоящему хорошо он чувствовал себя только среди «деятелей искусства».

Один из его друзей юности, «очаровательный Валечка Пастухов», поселился в Риге, и с ним я сразу подружилась. Этот Валечка Пастухов действительно на редкость очаровательный, застенчивый и нежный, заслуживший в Петербурге прозвище – по Маяковскому – «не мужчина, а облако в штанах», был женат на Марии Владимировне Майборода, на «женщине с бородой», как ее называли из-за фамилии, а главное из-за ее мужеподобия, энергии и активности. Более нелепого брака, кажется, и придумать нельзя было, а оказалось, что Валечка всем был обязан своей жене, без нее он – бывший миллионер и отличный пианист, совершенно не способный к жизненной борьбе, – в эмиграции, конечно, влачил бы жалкое существование, давая грошовые уроки музыки, за которые большинство его учеников не платило бы вовсе. Она же взяла дело в свои железные руки и добилась того, что в Риге учиться музыке у Пастухова считалось честью, далеко не всем желающим доступной и очень дорого стоящей. Завела она к тому же и связи в рижском свете и сумела сделать из своего правда, талантливого – мужа местную

знаменитость. Супругов Пастуховых мы часто встречали в рижских светских кругах.

В них большую роль играл дипломатический корпус. В Латвии, как в самостоятельном государстве, были представлены многие страны – правда, не послами, а посланниками. Присутствие этих посланников придавало особый блеск балам, вечерам, приемам и обедам. Светские дамы так обменивались впечатлениями:

– Ах, вчера у таких-то был чудесный обед: устрицы, специально выписанные из Остенде, седло дикой козы, спаржа, пломбир, шампанское и четыре посланника! А вот на прошлой неделе у таких-то обед был совсем плохонький – бульон с пирожками, ростбиф, бордо и сливочный крем. И только один французский консул!

Меня очень забавляла эта гастрономически-дипломатическая критика обедов и приемов, этого я никогда и нигде, кроме как в Риге, не слыхала.

На одном из таких гастрономически-дипломатических обедов моим соседом за столом был недавно присланный в Ригу итальянский посланник. Разговор, между прочим, коснулся хиромантии, и я рассказала ему, что умею читать линии рук.

Он очень заинтересовался и попросил меня посмотреть, что его ждет. После обеда я занялась рассматриванием его рук. И тут я увидела, что он скоро переменит карьеру, о чем я ему и сообщила. Но он вежливо объявил мне, что я абсолютно ошибаюсь, этого быть не может, скорее Рим провалится. Он дипломат и останется дипломатом до дня смерти, как его прадед, дед и отец. Все в их семье вот уже два века дипломаты.

– Просто смешно думать, что я могу перестать быть дипломатом! взволнованно убеждал он меня.

Я, конечно, не стала настаивать и согласилась, что неправа. Каково же было мое и всех присутствовавших на этом обеде удивление, когда через две недели

Муссолини отозвал этого посланника в Рим, заставил его подать в отставку, и он поселился в своем имении. Этот случай принес мне некоторую популярность, и я при желании даже могла бы стать «известной хиромантской».

В Риге в то время было много молодых поэтов: очень талантливая Ирина Сабурова, молодой редактор журнала «Для вас». Ею и сейчас гордятся прибалтийцы, разбросанные по всему миру, – в Канаде они так и называют себя «сабуровцами». В Риге жил и ее муж, композитор и поэт Александр Перфильев, сюда наезжал и Игорь Чиннов, только начинавший свое блестящее восхождение к славе.

Но с ними всеми я тогда, о чем жалею теперь, и знакома не была.

Познакомилась я с ними много позже, тогда же я проводила большую часть дня с отцом, а остаток – в светских развлечениях.

Все же мы с Георгием Ивановым сотрудничали в «Сегодня» и часто встречались с Пильским и Мильрудом и бывали друг у друга.

* * *

Слава Тэффи в дореволюционной России была огромна. Ее читали, ею восхищались буквально все – начиная от почтово-телеграфных чиновников и аптекарских учеников, как известно, самой низшей ступени читателей тех лет, до... императора Николая II.

Когда при составлении юбилейного сборника 300-летия царствования дома Романовых почтительно осведомились у царя, кого из современных русских писателей он желал бы видеть помещенным в нем, царь решительно ответил:

– Тэффи! Только ее. Никого, кроме нее, не надо. Одну Тэффи!

И с явным неудовольствием, после долгих уговоров, согласился, чтобы в юбилейном сборнике появились имена и портреты и других поэтов и писателей, во главе с Гиппиус и Мережковским.

Георгий Иванов слышал это еще в Петербурге, в 1913 году, от А. А. Мосолова и как-то, уже в Париже, спросил Тэффи, было ли ей известно, что царь был ее горячим поклонником. Тэффи покачала головой.

– Представьте себе, понятия не имела. А то, наверно, задрала бы нос. Впрочем, нет, – я тогда уже объелась славой. Я почувствовала себя всероссийской знаменитостью в тот день, когда посыльный принес мне большую коробку, перевязанную красной шелковой лентой. Без визитной карточки или сопроводительного письма. Должно быть, от какого-нибудь из анонимных поклонников моего таланта, – такие случаи уже бывали. Я развязала ленту, раскрыла коробку и ахнула. Она была полна конфетами, завернутыми в пестрые бумажки. И на этих бумажках мой портрет в красках и подпись: «Тэффи»! Тут действительно от гордости у меня как будто выросли крылья. Это ли не слава, не звонкая, сладостная, всероссийская слава?!

Я сейчас же бросилась к телефону и стала хвастаться своим друзьям, приглашая их к себе попробовать конфеты «Тэффи». «А вкусные?» – не без зависти спрашивали они. «Удивительно, невообразимо вкусные! Так приходите!»

Я звонила и звонила по телефону, созывая гостей, в порыве гордости уписывая конфеты «Тэффи» и добросовестно уничтожая их. Я опомнилась, только когда опустошила почти всю трехфунтовую коробку. И тут меня замутило. Я объелась своей славой до тошноты и сразу узнала обратную сторону ее медали.

Вместо того чтобы весело отпраздновать свою славу с друзьями, мне пришлось пригласить доктора, посадившего меня на неделю на диету и уложившего меня в постель с грелкой на печени. И больше меня уже никакими доказательствами славы не проймешь. Спасибо, я уже объелась ею раз и навсегда.

И прибавила, разводя руками:

– А конфеты, как ни странно, люблю по-прежнему. Должно быть, оттого, что они мне запрещены.

Женские успехи доставляли Тэффи не меньше, а возможно и больше удовольствия, чем литературные. Она была чрезвычайно внимательна и снисходительна к своим поклонникам.

– Надежда Александровна, ну как вы можете часами выслушивать глупейшие комплименты Н. Н.? Ведь он идиот! – возмущались ее друзья.

– Во-первых, он не идиот, раз влюблен в меня, – резонно объясняла она. – А во-вторых, мне гораздо приятнее влюбленный в меня идиот, чем самый разумный умник, безразличный ко мне или влюбленный в другую дуру.

Как-то я рассказала ей, что еще в Петербурге один мой знакомый – она тоже его знала – считал ее самой интересной и очаровательной женщиной из всех, кого ему приходилось встречать в жизни, и с восторгом говорил о ней.

Она вся вспыхнула, расцвела улыбкой и, обняв меня, трижды поцеловала.

– Какая вы милая! Спасибо, спасибо, что не скрыли. Приятное ведь редко кто передает, вот неприятное-то уже всегда – незамедлительно и с удовольствием. Но как жаль, что он сам не сказал мне этого еще тогда, в Петербурге.

– Нет, так нельзя, – поучала она как-то при мне молодую писательницу, резко обозвавшую своего собе-

седника. – Ведь он ваш поклонник. А поклонников надо холить и бережно к ним относиться. Не то, чего доброго, он сбежит к вашей сопернице. Тогда-то вы пожалеете, белугой завоете, да поздно будет. Она-то его не отпустит. Мертвой хваткой в него вцепится, чтобы вам насолить. По своей вине с носом останетесь.

Впрочем, она и сама не всегда «холила» своих поклонников, особенно при первой встрече.

Вот представляют ей нового поклонника. Никакого сомнения в том, что он ее поклонник, быть не может, – несмотря на солидный возраст и осанистую фигуру, он робеет перед ней. как мальчишка.

– Я так счастлив, – сбивчиво начинает он, почтительно прикладываясь к ее руке, – так мечтал... столько слышал о вас. Надежда Александровна, и...

– Не верьте, не верьте ни одному слову, – перебивает она его. – Все это ложь и сплетни!

– Но помилуйте, – почти вскрикивает он, – я только самое лучшее, только самое замечательное о вас слышал...

– Ну, тогда уже и подавно ложь и сплетни, – отрезает она.

Он, сбитый с толку, испуганно смотрит на нее, переступая с ноги на ногу, и не находит, что сказать. Но тут она приходит ему на помощь:

– И давно вы мечтали познакомиться со мной?

– Давно. Ужасно давно, – растерянно отвечает он. – Еще в Берлине в 1923 году, когда вас впервые увидел. Все искал удобного случая быть вам представленным... Она разводит руками:

– Подумать только! Но, слава Богу, нашли-таки долгожданный случай. Теперь будем знакомы. Но сколько вы лет проморгали! «А годы проходят, все лучшие годы». И их не вернуть, – поучительно и весело добавляет она. – Теперь нам с вами придется часто

встречаться, чтобы хоть отчасти наверстать потерянное время, – уже совсем любезно обещает она новому поклоннику.

Тэффи в своих довоенных фельетонах в «Возрождении» и в «Последних новостях» из недели в неделю описывала эмигрантов и их быт. Остроумно и порой зло.

Доставалось решительно всем, без исключения. Все же ее излюбленными «козами отпущения», как она их сама называла, являлись стареющие, не в меру молодящиеся эмигрантки.

Помню, как в одном из своих фельетонов в «Последних новостях» она издевалась над одной такой «козой», потратившей с трудом скопленные деньги на покупку красного обезьяньего колпачка с победоносно торчащим вверх фазаньим пером. Колпачок этот придавал ее усталому, помятому жизненными невзгодами и непогодами лицу такой залихватский и вместе с тем жалкий вид, что глядя на нее, хотелось расхохотаться и заплакать над ней одновременно, а главное, посоветовать ей: «А ты бы в зеркало посмотрелась, чучело!»

Такие обезьяньи колпачки были тогда в большой моде и действительно уродовали неосторожно соблазнившихся ими немолодых женщин.

Бедные! Прочитав фельетон Тэффи, ни одна из этих молодящихся модниц не посмеет больше надеть свой обезьяний колпачок. А ведь он дорого стоил.

В тот же день мы с Георгием Ивановым отправились на какой-то очередной литературный вечер – их в те довоенные годы было очень много.

В антракте у буфета я увидела Тэффи и чуть не ахнула. На ее голове гордо восседал красный обезьяний колпачок с длинным фазаньим пером, совсем как в фельетоне.

Боже мой, как она могла надеть его? Она, должно быть – ведь она была необычайно чутка, – поняла, о чем я думаю, и, здороваясь со мной, насмешливо прошептала:

– А ты бы в зеркало посмотрелась, чучело! – и уже громко продолжала: Только зеркало не помогает. По опыту знаю. Ведь я – по секрету признаюсь вам – чаще всего с самой себя списываю, себя описываю. «Познай самого себя» – если хочешь по-настоящему растрогать или рассмешить читателя. Это уже Гоголь до меня делал. Еще успешнее, чем я.

Военные годы Тэффи провела в Биаррице, как и мы с Георгием Ивановым.

Нам троим приходилось довольно часто бывать в одном нелитературном, но крайне гостеприимном доме, где кормили вкусно и обильно, что по тем полуголодным временам было очень приятно.

– До чего я люблю бывать у них. Накормят на целую неделю, да еще короб словечек и выражений для будущих рассказов с собой унесешь. Сразу получаешь и телесную и духовную пищу, так сказать, универсально обедаешь. «Не хлебом единым»...

Хозяйка дома действительно выражала свои чувства и мысли оригинально и красочно. Так, встретившись с Георгием Ивановым на набережной, она задала ему неожиданный вопрос:

– Скажите, вы очень чувственный? Не правда ли? – Он опешил, а она, приняв его молчание за согласие, пояснила: – А я сама безумно чувственна. Иногда, глядя на закат, я просто слез удержать не могу. Но вы поэт и, конечно, еще чувственнее меня.

– Только завтра вечером у них садитесь поближе, чтобы мы могли вести «немые разговоры», – уславливается со мной Тэффи.

«Немые разговоры» – то есть попросту многозначительно подмигивать друг другу в самых патетических местах монолога хозяйки.

Впрочем, «разговоры» не всегда остаются немыми. Иногда Тэффи и Георгий Иванов подхватывают какое-нибудь из ее особенно колоритных выражений и вышивают вокруг него фантастический узор, разыгрывают целый скетч, понятный мне одной.

Так и сегодня, за этим обедом. После закусок, бульона с пирогами подают гуся. Тэффи сладко жмурится, любуясь им.

– Обожаю собрата по перу! – радостно восклицает она. – Особенно золотисто-зажаренного, с яблоками и тушеной капустой.

Георгий Иванов провозглашает тост, указывая на гуся:

– За него и за всех его собратьев по перу. И за всех наших собратьев по перу, тех, что сейчас и мечтать не смеют о таком пиршестве!

Хозяева сияют, как, впрочем, и гости.

На несколько минут наступает тишина, вызванная усердным, сладострастным уничтожением гуся.

Хозяйка самодовольно оглядывает жующих гостей. Но пауза, брешь в застольной беседе, по-видимому, кажется ей слишком большой, и она, стараясь заполнить ее, начинает жаловаться на трудные времена:

– Ах, до чего все мучительно трудно в наши дни! Все, без исключения! лирический вздох, заканчивающийся удивительной находкой. – Особенно – кухня. Ведь кухня такая утопия!

Я боюсь взглянуть на Тэффи и еле сдерживаю смех.

Но Тэффи как ни в чем не бывало деловито поддерживает хозяйку:

– Как правильно вы определили кухню – утопия она. Я и сама, как только начинаю возиться с кастрюлями и сковородками, думаю это.

– Да, – подхватывает Георгий Иванов тоном провинциального резонера, – кухня – тут и сомнения не возникает – утопия. Однако же не одна лишь кухня, а и многое другое. К примеру взять – даже литература и та утопия.

Тэффи резко протестует:

– Ну уж нет! Позвольте, позвольте! Экую гиль понесли! От вас-то я этого никак не ожидала. Никаких взаимоотношений между литературой и утопией существовать не может. Каждому ясно – слово «утопия» происходит от глагола «утопнуть» и, как и он, употребляется исключительно в просторечии.

– Нет уж, Надежда Александровна, теперь вы позвольте! – Георгий Иванов начинает в притворном негодовании повышать голос. – Вы не станете, надеюсь, отрицать...

Хозяйка переводит встревоженный взгляд с него на Тэффи. Чего они так горячатся. Не к добру это. Спор легко может перейти в ссору и погубить ее дорого стоивший обед.

– Надежда Александровна, – умоляюще произносит она, возьмите еще крылышко. И печеное яблочко. А у вас, Георгий Владимирович, совсем нет подливки.

Но не так-то легко прекратить этот словесный поединок, принимающий – по ее мнению – опасные размеры. Георгий Иванов не унимается.

– «Утопия», – продолжает он веско и убедительно, – происходит и от слова «топь». А оно-то издревле приобрело права гражданства и в прозе и в стихах. И провело туда за собой и «утопию». Вспомните хотя бы знаменитую строфу Пастернака, в коей они оба фигурируют.

Тэффи, предвидя мистификацию, сосредоточенно сдвигает брови:

– Не помню. Что-то мелькает в памяти. Но нет. Не то. Процитируйте-ка ее!

Георгий Иванов, отбивая отчетливо ритм, «цитирует» тут же им сочиненную строфу:

По крыше дождя дробь,
В саду болота топь.
Ну, прямо копия
Картины Клевера
Бездарная утопия
Осеннего севера...

Тэффи, прослушав ее внимательно, трижды кивает:

– Признаю себя побежденной по всей линии. Вы совершенно правы. Спасибо, что вспомнили Пастернака, – не без легкой обиды говорит она.

Я смотрю на нее. Лукавый огонек исчез из ее глаз. Она уже непритворно хмурится, снова принимаясь за гуся.

Неужели ей неприятно, что Георгий Иванов приписал выдуманную им строфу Пастернаку?

Да, этого ему, пожалуй, делать не следовало. Лучше бы он провозгласил Андрея Белого или Маяковского ее автором.

С Пастернаком у Тэффи связаны неприятные воспоминания. За несколько лет до войны она, как тогда говорили, «оскандалилась, села в калошу», напечатав в «Иллюстрированной России» «нечто несосвятимо-невообразимое» в ответ на статью Марины Цветаевой «Световой ливень», воспевающую Пастернака в «Современных записках».

«Пастернак. Никогда я не слыхала о таком поэте. Зато с детства знаю:

Танцевала рыба с раком,
А петрушка с пастернаком»,

опрометчиво заявила Тэффи в «Иллюстрированной России» надолго возмутив и восстановив против себя молодых эмигрантских поэтов.

Сколько огорчений и обид ей тогда доставил этот танец Рыбы с раком!

Неужели Георгий Иванов хочет снова напомнить ей о них. Но нет. Он, улыбаясь, обращается к хозяйке: – Должно быть, и вы забыли эту строфу? Но вы, я уверен, любите Пастернака?

– Ну, конечно, – радостно и смущенно соглашается она. – Как же можно не любить его? – хотя о Пастернаке она вряд ли слышала что-нибудь, кроме танца с петрушкой. – Он так много говорит русскому сердцу, – неожиданно добавляет она.

Тэффи достает из сумочки помятый конверт и огрызок карандаша.

– Запишите мне, Георгий Владимирович, эту строфу. А то опять забуду. Ведь и моему сердцу Пастернак так много говорит. Он мой любимый поэт, – правда, с недавних пор, – ехидно поясняет она. – А строфа эта просто прелестна.

– И как по-пастернаковски. Его ритм. Его дыхание! – восхищаюсь я. – Кто, кроме него, мог бы так?..

– Даст же Бог человеку талант! – сентенциозно заканчивает лингвистический диалог Тэффи, принимаясь за появившийся на ее тарелке третий кусок «собрата по перу».

Хозяйка, видя, что все пришло в порядок и ничто больше не грозит нарушить благочинность ее пышного пира, снова сияет.

Обед удался во всех отношениях – даже в интеллектуальном. Тэффи и Георгий Иванов говорили так

умно, так интересно. Многому можно научиться, слушая их. Да. Хозяйка права. Обед действительно прошел удачно. И даже блестяще.

Впрочем, все обеды и завтраки с Тэффи всегда удачны и блестящи.

Одна наша общая с ней знакомая наивно призналась мне, что «за Надеждой Александровной угощеньице никогда не пропадает. Она умеет превратить самый скромный обед в банкет. При ней все вкуснее. И самые скучные, унылые, брюзжащие гости, от которых мухи дохнут, при ней преображаются – становятся веселыми и приятными. Прямая выгода для хозяйки приглашать Надежду Александровну».

Когда я передала Тэффи эти слова о ней, она развела руками:

– Лестно, что и говорить! Чувствую себя «Подарком молодым хозяйкам» молодым и старым. Своего рода «Молоховцом», да и только!

Тэффи, что так редко встречается среди юмористов, была и в жизни полна юмора и веселья. Казалось, она в событиях, даже самых трагических событиях, как и в людях, даже самых мрачных, видела прежде всего их комическую сторону, скрытую от других. И тут же, не обращая внимания на гробокопательное настроение окружающих, весело сообщала о своих наблюдениях и радовалась, если ей удавалось вызвать ими смех.

– Дать человеку возможность посмеяться, – объясняла она, – не менее важно, чем подать нищему милостыню. Или кусок хлеба. Посмеешься – и голод не так мучает. Кто спит – тот обедает, а по-моему – кто смеется, тот наедается досыта. Или почти досыта.

Она провела годы войны в тяжелых материальных условиях. Но всегда старалась сохранять бодрость и веселье, лишь изредка позволяя себе падать духом.

Без смеха ни одна наша встреча с ней не обходилась, даже в самые темные дни. Завидя ее издали, я уже начинала улыбаться – с ней всегда и всюду было приятно и весело.

Большинство наших случайных встреч заканчивались в кафе на набережной. Ведь у нас дел никаких. У меня хоть бридж, у Тэффи и того нет – в бридж она не играет. Ее «светские вылазки» ограничиваются редкими зваными обедами, являвшимися своего рода событиями в те голодные годы.

Сегодня ни бриджа, ни обеда не предвидится. Мы сидим за круглым мраморным столиком и задушевно беседуем. «Задушевно» от «задушить», по ее определению. Тэффи хмурится.

– Как бы мне хотелось задушить, уничтожить, вычеркнуть все эти скучные, пустые дни. Все эти завтра, послезавтра, через неделю, через месяц! До чего они меня изводят. Тянутся, тянутся, и конца им не видно. Сразу бы – прыг! и перескочить в «после войны», очутиться снова у себя дома, в Париже. Но как подумаешь – страшно отдавать кусок жизни. Ведь неизвестно, сколько лет мне еще осталось жить. Вдруг, после такого прыжка «из царства необходимости в царство свободы», по выражению Бердяева, я окажусь не у себя в Париже, а на кладбище, в могиле. Нет, лучше уж перетерпеть, тем более, что и прыгнуть-то нельзя.

Она глубоко вздыхает и, помолчав немного, протягивает руку, указывая на пылающий над океаном закат.

– Вот, – говорит она, – это все-таки утешение. Каждый день новый, особенный. Я не такая уж страстная поклонница красот природы, не схожу с ума от них. А все-таки и меня пробирает. И еще как! Не могу на закат наглядеться. И так странно – чувствую одновременно страх смерти до дрожи в спине и дикую, бешеную жажду жизни. Жить! Жить полной жизнью. Радоваться

жизни. И работать. Но не то, что я обычно пищу, а совсем другое. Замечательное. Оставить после себя след на земле.

Она снова вздыхает.

– Но я прекрасно сознаю, что никакого, даже легкого следа не оставлю. Целиком полечу вверх тормашками в небытие и забвение. Все, что я пишу и писала, – как эти белые однодневные бабочки, которые кружатся около нас, принимая нас по глупости за цветы, должно быть. Я такая же, как и они, однодневка и...

Я перебиваю ее:

– Какой вздор, Надежда Александровна! Кого, кого, а вас-то никогда или, во всяком случае, очень, очень долго не забудут. Вспомните хотя бы, что говорил Алданов о вас.

Она, насторожившись, сдвигает брови.

– Обо мне? Алданов? Когда?

– У Мережковских. На одном из «воскресений». Помните?

Она качает головой.

– Не помню. У Мережковских?

И вдруг, вся просветлев, улыбается.

– Ах, да! Про анналы и что я Пимен в юбке. Как же, как же! Но ведь это только слова, слова – лесть и вранье. А все-таки – приятно вспомнить. Постойте, постойте, давайте восстановим все по порядку, со всеми подробностями. Она на минутку задумывается.

– Да, вы правы. Это было в воскресенье. Перед Рождеством. Шел дождь, а в дождь и слякоть меня всегда тянет на люди. У Мережковских я давно не была. И подумала: дай-ка пойду к ним – и идти недалеко, и многолюдно. Авось забавно будет. И вышло забавно. Вы ведь помните?

– Да, я помню. Я хорошо помню. Вот как это было.

Парижское дождливое предрождественское воскресенье. Мы сидим за длинным чайным столом на 11-бис Колонель Боннэ. Мы – то есть хозяева, Алданов и все «воскресники», за исключением Адамовича, уехавшего в Ниццу к матери и тетке на праздники.

Алданов здесь довольно редкий гость. Очень почтенный, но не очень любимый. По мнению Гиппиус – «он не интересуется интересным. Он неверующий, атеист. Даже не активный, воинствующий, а пассивный атеист – что уже хуже всего. И слишком насквозь литературный, абстрактный. Конечно, он умен, чрезвычайно умен и тонок, но мне с ним не о чем говорить. И Дмитрию Сергеевичу тоже. Скучно» – и она подавляет зевок в знак того, что ей скучно даже говорить о нем.

Вот и сейчас она посадила его возле себя, с правого лучше слышащего уха, и с полулюбезным, полускучающим видом ведет с ним литературный разговор, расспрашивает о его планах.

Мережковский, что с ним редко случается, не в ударе, и это передается всем «метафизикам», группирующимся вокруг него. Настроение у них кислое. Мережковский вяло и бесцветно обсуждает последнее заседание «Зеленой лампы», не взлетая, как обычно, в надзвездные края, не ныряя в метафизические бездны. Все сегодня как-то не клеится – нет ни ожесточенных споров, ни яростных столкновений мнений. Все не то и не так.

Звонок. И нежданно-негаданно появляется Тэффи. Нарядная, веселая, полная бьющей через край жизнерадостности.

– Что, не ждали меня? – весело и звонко осведомляется она. – Незваный гость хуже татарина, знаю, знаю. А я все-таки взяла и пришла. Принимайте!

И Гиппиус, обрадовавшись, что не надо больше занимать Алданова, «принимает» ее с подчеркнутым удовольствием.

– Вы прекрасно сделали, что навестили нас, Надежда Александровна. Вы повсюду вносите веселье и свет. А у нас сегодня как раз – sombre dimanche[12].

Романс «Sombre dimanche» сейчас с утра до вечера распевают все граммофоны и передают по радио. «Sombre dimanche» особенно прославился после того, как под его звуки застрелилось несколько человек. Ведь и на самоубийства своя мода.

Меня немного удивляет, что Гиппиус знает о существовании «Sombre dimanche»: на 11-бис Колонель Боннэ нет ни граммофона, ни радио. Взлет лорнетки и повелительное:

– Николай Бернгардович, уступите, пожалуйста, ваше место Надежде Александровне!

И Фельзен, милый, благовоспитанный «Спарженька», безропотно перебирается на конец стола в царство Мережковского, где группируются «метафизики» – Поплавский, Варшавский, Терапиано, Дикой, хотя ему чуждо все, о чем там рассуждают. Ведь он, как Алданов, тоже насквозь литературный.

С появлением Тэффи все сразу меняется. Все ожили, Мережковский, будто в него пустили магнетический заряд, начинает страстно предсказывать неизбежность мировой катастрофы. И хотя он обращается не к Тэффи, мне кажется, что именно она является источником оживления и вдохновения, охватившего его и его слушателей.

Гиппиус, Алданов и Тэффи к ним не относятся, как и я. Но Георгий Иванов принимает деятельное участие во вдруг разгоревшемся споре о судьбах мира и России.

[12] пасмурное воскресенье (фр.)

Его все, что касается России, неизменно волнует и задевает.

Зинаида Николаевна, только что расспрашивавшая Алданова о его литературных планах, обращается с тем же вопросом к Тэффи. Услышав от Тэффи, что скоро выйдет еще одна ее книга, она слегка морщится. И понятно – сколько уже их, этих книг, Тэффи издала в эмиграции. А ей, Гиппиус, кроме двух тонких сборников стихов, не удалось ничего издать. Ровно ничего. У нее в сундуке спят беспробудным сном целых семнадцать романов. Никто не желает их знать. Гиппиус унизилась даже до помещения в «Иллюстрированной России» одного из своих романов с заглавием (если не ошибаюсь) «Будут ли они счастливы?». Но ей, автору, это счастья не принесло. Роман прошел почти незамеченным. С рассказами дело обстоит не многим лучше – в «Последних новостях», в «Числах», в варшавском «Мече», в «Новом доме» и «Новом корабле» их, конечно, – из уважения к ней – печатают. Но без энтузиазма. Как же ей не завидовать?

– Поздравляю, – цедит она сквозь зубы, – ваша новая книга – событие, конечно.

– Да, да, – подхватывает Алданов, – еще бы не событие! И еще какое! Ведь вас, Надежда Александровна, можно сравнить с самим Грибоедовым. Как его строки из «Горе от ума» стали поговорками, так и ваши словечки и выражения вошли в эмигрантский язык и обогатили его. Не счесть алмазов в каменных пещерах! Чего стоит одно ваше знаменитое «Ке фер? Фер-то ке?»[13]

Тэффи благосклонно слушает его.

---

[13] что делать (от фр. que faire?)

– Вот это комплимент так комплимент! Обогатить русский язык, пусть эмигрантский! Большая, неслыханная честь. Спасибо.

Тэффи прищуривается и с невинным видом продолжает:

– Только жаль, что из всех моих «алмазов» вы выбрали как раз тот, который мне не принадлежит. «Ке фер? Фер-то ке?» выдумала не я, а мой брат, генерал Лохвицкий. Да, да, тот самый. Остроумней его я никого не знала. Куда мне до него.

Алданов слегка сбит с толку. Он самый вежливый и тактичный человек эмиграции. Неужели же он обидел Тэффи? Но она весело продолжает.

– Не вздумайте извиняться. И огорчаться. Но кесарево – кесарю. И мне ведь лестно, что у меня такой остроумный генеральствующий брат.

Алданов, возможно из желания загладить свою «бестактность», продолжает убежденно и убедительно:

– Ваши рассказы, Надежда Александровна, может быть, самое ценное, что создала эмигрантская литература. Это – наши анналы, свидетельство эпохи, материал для будущих историков. Просто памятник эмиграции.

Тэффи кивает, радостно сверкая глазами.

– Чувствую, как я начинаю стареть, седеть, превращаться в этакого седобородого Пимена. И насчет памятника, как ловко, как верно, – она лукаво улыбается: – Никто, кроме вас, не умеет так угодить авторскому самолюбию. Может быть, еще что-нибудь прибавите, чтобы я себя памятником почувствовала, так сказать, эмигрантским памятником, возведенным во вторую или энную степень – если только мои скудные остатки алгебры не изменяют мне.

Алданов разводит руками:

– Помилуйте, Надежда Александровна! Я совершенно серьезно. Я действительно считаю вас...

– Пименом! Седобородым Пименом в юбке. И нерукотворным памятником. Принимаю. Верю. И горжусь собой.

Алданов смотрит на Тэффи своими слишком красивыми, газельими глазами, странно не гармонирующими с его одутловатым, немолодым лицом.

– Надежда Александровна, я без шуток, совершенно искренне восхищаюсь вами. Ведь юмор самый трудный род литературы. Откуда вы все это берете?

– Откуда? Из себя, – не задумываясь, отвечает она. – Из себя. Черпаю, как из бочки.

– Из бездонной бочки, – веско роняет Гиппиус.

– Совершенно правильно, – подхватывает Алданов. – Как из бездонной бочки. Так легко, так неисчерпаемо. А ведь, как вы изволите знать, остроумие, по Сент-Беву, схоже с карандашом. Его постоянно надо оттачивать, чтобы оно не притупилось.

Алданов, приведя какую-нибудь цитату, неизменно прибавляет «как вы изволите знать», подчеркивая этим свою уверенность в знаниях собеседника.

– А вот, представьте себе, я и не изволю знать мнения Сент-Бева об остроумии, – капризно и запальчиво заявляет Зинаида Николаевна. – Но запомню. И буду точить свой карандаш, чтобы он не притупился. Остроумие ведь и критику необходимо, – она переводит свой лорнет на Тэффи. – Но вам, Надежда Александровна, точить ничего не надо. Вы пишете самопишущим пером.

Алданов хотя и понимает, что Гиппиус начинает раздражаться, терять терпение и пора переменить тему, все же продолжает восхвалять Тэффи, игнорируя двусмысленное, не совсем понятное «самопишущее перо».

– Мы все, Надежда Александровна, должны быть вам благодарны за то, что вы заставляете нас смеяться. Ведь тот, кто смешит людей, оказывает им настоящую услугу, заставляя их забывать о страхе смерти. А от страха смерти, как известно, люди старятся преждевременно. Недаром французы говорят: «Le jour ou l'on cesse de ure, on commence a vieillir». (В день, когда перестаешь смеяться, начинаешь стареть.) Вы сохраняете нашу молодость. Не позволяйте нам стареть.

Гиппиус кивает насмешливо,

– Понимаю, понимаю, – растягивая слова, произносит она. – Надежда Александровна фабрикует эликсир вечной молодости. – Она – еще и алхимик. Вернее – алхимичка. И подумать, что я об этом и не догадывалась! Спасибо, Марк Александрович, вы меня просветили, открыли мне истину. – И, сделав многозначительную паузу: – А я как раз, слушая вас, решила сообщить вам в награду интересную новость. Это пока секрет, но я собираюсь посвятить вам большую статью. Написать о вашем «Ключе» и последовавших за ним «ключиках». И о «Чертовом мосте» и прочем историческом. Все сказать, что думаю о всем вашем, о вас. Мне уже давно хочется. Обещаю вам. Алданов меняется в лице.

– Ради бога, Зинаида Николаевна!.. Не пишите! – испуганнее вскрикивает он срывающимся голосом.

И, спохватившись, багрово краснеет до корней волос. У него, всегда такого выдержанного, отлично умеющего собой владеть, совершенно потрясенный, потерянный вид. На него жалко смотреть.

Но Гиппиус с явным удовольствием наводит на него свой лорнет и любуется эффектом, произведенным ее обещанием. Помолчав немного, она любезно предлагает, будто ему необходимо подкрепиться после пережитого волнения: Не налить ли вам чашечку моего

кофе? Но Алданов так потрясен, что даже не благодарит за редчайшее желание угостить его ее кофе. Она не настаивает и, все так же пристально глядя на него, говорит:

– Успокойтесь, Марк Александрович. Я пошутила. Правда, мне хочется написать о вас. Но я еще не знаю когда. Никакой статьи о вас у меня еще в проекте нет. Может быть, я ее отложу «на завтра, на потом, на послезавтра», лорнетка снова взлетает и на этот раз останавливается на мне. – Как в стихотворении Ирины Владимировны: «на когда умрем».

Должно быть, Гиппиус очень довольна, если делает мне неслыханный «омаж» – цитирует мои строчки. Я никогда не предполагала, что она знает их наизусть.

Да, Гиппиус действительно пришла в прекрасное настроение и хочет всех одарить своей благосклонностью.

– Володя, – обращается она к Злобину, – принесите из моей комнаты «Числа».

Злобин возвращается с последним номером «Чисел» и подает ей журнал. Она начинает его перелистывать.

– Удивительно удачно все. Да, как ни странно, на этот раз все. Но особенно мне нравятся Адамович, Георгий Иванов, Оцуп, Терапиано, Поплавский, Фельзен, – и она перебирает имена почти всех участников. – Куда же «Сов. запкам» (то есть «Современным запискам») до «Чисел»! – кончает она, с улыбкой глядя на засиявшего Оцупа. – Поздравляю, Николай Авдеевич.

И «воскресенье» заканчивается вполне благополучно...

– Мне сейчас кажется, – мечтательно произносит Тэффи, – что это было давным-давно. «Это было давно. Я не помню, когда это было. Может быть, никогда». А вот мы с вами, – прибавляет она уже другим тоном, –

восстановили то «воскресенье» во всех подробностях и деталях. И сейчас мы, как два пуделя, только что вылезшие из пруда, отряхиваемся, и брызги воспоминаний летят во все стороны. Жаль, что нас никто не слушает.

Она улыбается, глядя перед собой на все разгорающийся закат, но вряд ли видит его, погруженная в воспоминания.

– Ведь как правильно: «Что пройдет, то будет мило». Тонкий психолог Жуковский. Тогда я и внимания на слова Алданова не обратила, а сейчас до чего приятно вспомнить, до чего мне его панегирик нравится! И сама я себе сейчас та, прежняя, та, прошлая, очень нравлюсь. «Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была»... Безусловно лучше. Ведь голод и скука не красят. И одета я в тот день была прекрасно – в новом бархатном платье, и причесана соответствующе. Зинаида Николаевна на меня весь свой лорнет прогляде-ла – не без зависти. А я страшно люблю вызывать зависть. Каюсь в женском тщеславии! Пусть лопаются от зависти! Вот я какая! И не стыжусь!

Она горделиво оглядывает сидящих за соседним столиком и самодовольно улыбается.

– Да, о том панегирике Алданова мне сейчас очень приятно вспомнить. Чего он только тогда не наговорил! И все-таки, – продолжает она, и тень ложится на ее только что улыбавшееся лицо, – по-настоящему такие славословия меня не трогают. Ведь он восхищался моим «смешным». А я больше всего ценю свое «серьезное» – то, что я называю «слезами моей души», то, что Мережковский не постеснялся объявить пошлостью, прямо мне в глаза: «Пошлость весь этот жемчуг вашей души»! Потом он, правда, извинялся: «Я погорячился, оговорился. Мой язык часто произносит не то, что я думаю». Я не обиделась. Но мне больно, что мое «серь-

езное» не признают – особенно стихи. Со стихами мне ужасно не везет. Моим песенкам – «Ах, какая прелесть! Еще, еще спойте!» – хлопают, восторгаются, а от моих настоящих стихов отворачиваются брезгливо. И представить себе нельзя, что они появятся в «Современных записках», в «Числах» или в каком-нибудь «Смотре» или «Новом доме». Со стихами мне у поэтов и у критиков всегда не везло. Еще до первой войны Брюсов меня прославил рецензией на мой сборник стихов «Семь камней»: «Камней действительно семь, но все они фальшивые».

Вот моя сестра Мирра Лохвицкая, ту все сразу признали и захвалили. И Брюсов в том числе. Игорь Северянин просто поклонялся ей. Ее прозвали «русской Сафо». Правда, мальчики шли на смерть, распевая «Три юных пажа» и «Мимо стеклышек иллюминатора», но Гиппиус уверяет, что это от полуинтеллигентского безвкусия. Признайтесь, – она поворачивается ко мне, – вы ведь тоже терпеть не можете мои стихи? – И сразу, не дав мне времени ответить: – Не надо, не отвечайте. Если похвалите – я не поверю. Если скажете правду, мне будет больно. Лучше давайте-ка разойдемся, как в море корабли, до следующей, такой же, надеюсь, приятной встречи.

– The rest is silence[14], – с трудом произносит она и смеется, – я ведь от безделия учусь английскому языку. Только выговор у меня корявый, как и у моей учительницы, впрочем. Я ей уроки русского даю в обмен. Я превосходная учительница. У меня своя система. Вот как я учу ее счету:

Раз, два, три, четыре,
Скучно жить мне в этом мире,
Пять, шесть, семь,

---

[14] Об остальном умолчим (англ.)

Слишком мало пью и ем,
Восемь, девять, десять,
Вот бы фюрера повесить.

И так далее – до ста. Она гораздо большие успехи делает, чем я. My tailor is rich[15], – вот и все, что я пока усвоила. Да этот самый silence. Но подождите, скоро заговорю, как англичанка. Хотя мне это решительно ни к чему. Просто лекарство от скуки. Но и оно не помогает.

Весеннее утро 1942 года. Я только что встала. Звонок. В столовую входит Тэффи. Ее появление в такой ранний час немного удивляет нас с Георгием Ивановым, но мы ее, как всегда, радостно встречаем.

– Простите, – говорит она взволнованно и торопливо, – врываюсь к вам в такую рань. Только мне совершенно необходимо.

Мы с недоумением переглядываемся. О чем это она? Что с ней?

– Если не у вас, так ни у кого здесь не найду, а мне до зарезу надо, – продолжает она так же торопливо и взволнованно. – Есть у вас «L'Histoire de la magie»[16] Леви, Элифаса Леви?

– Нет, – отвечаем мы хором. – Никакого Элефанта Леви у нас не было и нет.

– И я даже о нем никогда не слыхала. Ни о нем, ни о его «Histoire de la magic», – поясняю я.

– Так... – разочарованно и протяжно произносит Тэффи, – значит, я напрасно взгромоздилась с петухами и даже кофе не успела выпить.

– Кофе мы с вами выпьем сейчас вместе, мы ведь тоже еще не пили. А Элефанта вам придется искать в

[15] Мой портной богат (англ.)
[16] История магии» (фр.)

другом месте. Элефанты и леонты у нас браков не учиняют. Тэффи морщится.

– Не Элефанта, а Элифаса. Странно, что вы не слыхали о такой знаменитой книге. – И с робкой надеждой в голосе: – А может быть, у вас все-таки «Dogmes et rituels de la haute magie»[17] найдется?

Георгий Иванов качает головой:

– Не найдется.

– И вообще ничего о магии? Завалящегося?

– Ни-че-го, – отчеканивает Георгий Иванов. – Этого товара в доме не держим.

– Вот, если хотите, по хиромантии или графологии, – предлагаю я. – Или по астрологии. Этого у меня немало. Но по магии...

Тэффи сокрушенно вздыхает:

– Придется из Парижа выписать. Только надо неделю ждать, а мне приспичило. Вчера вечером вспомнила об этой книге и не могла спать, все о ней думала. Еле утра дождалась, чтобы прийти к вам. Я в такую полосу попала. Накатывает на меня. Так торопилась, что даже красоту на фасад не успела навести. Не смотрите на меня, пожалуйста.

Да, она действительно «красоты не навела». А ведь обыкновенно она никому не показывается «в натуральном виде» – ненапудренная, с неподкрашенными губами и неподведенными глазами, или когда у нее «неавантажный вид».

– Хочу нравиться всем, всегда, – откровенно сознается она.

И одета она сейчас не так тщательно, как обыкновенно. Бархатный берет, обычно кокетливо скошенный на левый глаз, строго и прямо надвинут на лоб до самых бровей, скрывая затейливые завитки на висках. От

[17] «Догматы и обряды высокой магии» (фр.)

этого черты ее лица как будто заострились и приняли строгое, серьезное выражение. Клетчатый шарф, обычно не без лихости и кокетства закинутый вокруг шеи, распластан на плечах.

Я смотрю на нее, соображая, кого, собственно, она мне напоминает? Где я видела такой бархатный берет, надвинутый на лоб, такой клетчатый шарф и такое умное, строгое, старое лицо? И вспоминаю: на портрете моего прадеда, гейдельбергского профессора начала XIX века, висевшем когда-то в кабинете моего отца. До чего она сейчас похожа на него!

– Надежда Александровна, – начинаю я и на минуту останавливаюсь: а вдруг она обидится? – У вас сейчас такой серьезный, умный, ученый вид! Ну прямо ни дать ни взять – немецкий профессор.

– Разве?

Она подходит к большому зеркалу на стене и внимательно рассматривает себя в нем.

– А ведь правда! Ни дать ни взять старый профессор. И конечно, немецкий, не то Вагнер, не то сам доктор Фауст. А то и сам Кант. Впрочем, я его портрета никогда не видела. Она продолжает себя разглядывать:

– Я сейчас открытие сделала. Никогда не знала, что старуха может походить на старика. Старики, тех часто легко можно принять за старух. Еще позавчера художник М. сидит у меня, весь крутится и вьется, как угорь на сковороде, и все напрашивается на комплименты: «Вы не находите, Надежда Александровна, что у меня сегодня какой-то странный вид?» А я ему чистосердечно брякнула: «Ничего странного. Обыкновенный старик, похожий на старуху». Он, бедный, сразу скис. Огорчила я его. Ушел обиженный. А вот чтобы старуха на старика походила, вижу впервые...

Георгий Иванов прерывает ее:

– Ну какая же вы, Надежда Александровна, старуха? Помилуйте! Вы ведь моложе всех молодых! Сознайтесь, это вы только для красного словца. Она кивает:

– Ну, конечно, для красного словца. Старухой я никогда не буду. Даже в день смерти. А на старого профессора все же похожа сейчас. На доктора Фауста, до пакта с Мефистофелем.

Она снова возвращается к так страстно интересующим ее сношениям с темными силами.

О них у меня смутные познания, не то что у Тэффи.

– Откуда вы все это знаете, Надежда Александровна?

– Я много читала об этом, – говорит она. – Я вообще много, слишком много читаю. Я не пью, не курю. Чтение, «ce vice impuni»[18], как его определяет Валери Ларбо, единственный мой порок. Чтение мой грех, мой безгрешный грех. Вот у вас столько книг, я вам завидую, что вам удалось перевезти сюда вашу библиотеку. Я на вашем месте читала бы ночами напролет. Жаль только, что о магии...

– Постойте, – перебиваю я ее, – у нас, кажется, всетаки найдется кое-что интересное для вас. Магические рассказы Нодье. Читали? И Шамиссо – «Человек, потерявший свою тень».

– Нет. Не читала. Но, конечно, слыхала давно о них и очень хотела прочесть. Как чудесно, что вы мне их одолжите. Не бойтесь, верну. Чужого мужа могу украсть, сознаюсь. Книгу – никогда.

Я приношу ей обе книги. Она перелистывает их.

– Значит, я не напрасно притащилась к вам. Это, кажется, действительно страшно интересно, судя по

[18] этот безнаказанный порок (фр.)

иллюстрациям. А знаете, какая разница между феерией и фантастикой? – спрашивает она.

– По-моему, одно и то же, – неуверенно отвечаю я.

– Ничего подобного, – отрезает Тэффи. – А вы, Георгий Владимирович, конечно, знаете?

Он качает головой: – Нет, не знаю, представьте себе.

Тэффи торжествует и, захлопнув Нодье, поучает нас, как профессор с кафедры:

– Феерия – добро. Стремление к счастью. Жизнь. Фантастика – зло. Смерть. Феерия – светлый сон. Фантастика – кошмар. Семнадцатый век – помесь фантастики с феерией – похож на наш двадцатый век. Особенно на годы, которые нам теперь приходится переживать. Фантастика и феерия диаметрально противоположны. «Феерия» происходит от феи, в ней все светло, она стремится к счастью, в ней действуют добрые силы. В магии – темные силы. Она стремится к смерти, к разрушению жизни. Магия и феерия – как две стороны одной и той же чудесной монеты. Одна сторона темная – смерть. Другая светлая – жизнь. Сказки фееричны. Они ведь всегда хорошо кончаются.

Она произносит все это с жаром. Она довольна, что ей удалось блеснуть ученостью перед понимающей, квалифицированной аудиторией. Она улыбается и вдруг, совершенно преобразившись:

– Вот и мой сегодняшний приход к вам фееричен, раз мне удалось раздобыть такие интересные книги. Подождите минутку.

Она открывает сумочку, достает зеркальце, подкрашивает губы.

– А то когда у меня ненамазанные губы, у меня голос звучит глухо и ничего веселого я сказать не могу. Теперь только попудриться.

Она ловким привычным движением придает своему бархатному берету залихватский уклон, высвобождает из-под него завитки волос на висках, сбрасывает клетчатый шарф и пальто и с явным удовольствием любуется собой в зеркале.

– От Herr Professor'а и следа не осталось. Снова Тэффи, похожая на Тэффи, – победоносно заявляет она. – На себя и ни на кого другого. А теперь, если угостите, не прочь кофе выпить. И даже основательно закусить – зверски проголодалась.

И она весело садится за накрытый стол.

– Мне было бы не так грустно и скучно в этом противном Биаррице, если бы у меня была кошка, – мечтательно говорит Тэффи, снова сидя со мной на террасе кафе. – С кошкой мне было бы легче. Только чем бы я стала ее кормить? Ведь я и сама живу впроголодь. А кошка ужасная привередница, – той дряни, которой я питаюсь, я ей давать не посмела бы. Да она бы только фыркнула презрительно – станет она рютабагу есть! Замяукала бы, требуя печенки или рыбы. Но где их взять? Нет, лучше уж одной мучиться. Что бы я стала делать, если бы моя кошка от голода кричала?

Да, Тэффи любит кошек. Так же как Колетт. Обе они о кошках много писали.

– Я просто не понимаю, – как можно не любить кошек, – продолжает Тэффи. – Для меня человек, не любящий кошек, всегда подозрителен, с изъяном, наверно. Неполноценный. Вот даже Вера Николаевна Бунина – на что уж, кажется, она добра и мила, а что она не переносит кошек, боится их, как стена между ней и мной. Близости, дружбы между нами настоящей быть не может. Всегда чувствую отчужденность. Симпатизирую ей сдержанно, признаю все ее бесспорные качества. Но кошек ей простить не могу. Люди для меня делятся на тех, кто любит кошек и кто их не любит.

Человек, не любящий кошек, никогда не станет моим другом. И наоборот, если он кошек любит, я ему много за это прощаю и закрываю глаза на его недостатки. Вот, например, Ходасевич. Он любил кошек и даже написал стихи о своем коте Муре...

– А вы, Надежда Александровна, – спрашиваю я, – вы тоже писали стихи о кошках?

– А еще бы! И очень много. У меня кошачьих стихов набралось бы на целый том. Но они слишком интимны, чтобы их обнародовать, придавать гласности. Хотите, прочту какое-нибудь из них? Я, конечно, хочу. И она начинает:

Белолапка – серо кошка
Раз уселась на окошко,
А по улице идет
Очень важный тигрокот.
Скок! И сразу хвать в охапку,
Серокошку – белолапку,
Под себя ее подмял,
Тигрокот, ну и нахал!

– Нравится вам? Хорошо?

По звуку ее голоса, по выражению ее лица мне ясно, что она с волнением и тревогой робко ждет моего одобрения.

– Очень нравится! Прелесть! – совершенно искренно говорю я. – Как выразительно, сколько динамики!

Она, совсем как начинающая карьеру молодая писательница, вспыхивает от радости.

– Действительно нравится? – переспрашивает она. – Я боялась, что и это вы осудите. Ведь вы знаете, мне со стихами не везет. Настоящие поэты-мэтры меня даже презирают. Мне это очень обидно.

– Прочтите, пожалуйста, еще какое-нибудь «кошачье», – прошу я, желая избежать разговора о ее «серьезных стихах». – Или нет, раньше повторите еще про тигрокота, чтобы я его хорошенько запомнила. Он просто восхитителен.

Она охотно соглашается. Она, как, впрочем, и большинство поэтов, готова читать свои стихи «сколько угодно и еще немного – с полчасика».

– У меня целый кошачий эпос, – объясняет она. – «Тигрокот» и «белолапка» его главные герои. Они кошачьи Тристан и Изольда или Ромео и Джульетта. Но и других вымышленных кошек и котов у меня много. Они меня постоянно навещают. В особенности когда я больна. Такие добрые, чуткие сейчас же тут как тут. Развлекают и утешают меня. Это я о них:

Все коты пришли гулять
На зеленую кровать
И пошли домой потом
Кошка с кошкой, кот с котом.

Вас, наверно, удивляет «на зеленую кровать» -_ будто на зеленый луг. А это просто оттого, что у меня зеленое покрывало на кровати.

Она так улыбается и так смотрит вдаль, будто действительно видит перед собой процессию котов и кошек, чинно шествующих попарно.

– Они удивительно умные, – продолжает она оживленно» – Я как-то сочинила о них целую поэму. И, представьте себе они сразу же стали исполнять ее хором, на разные голоса. И что уже совершенно невероятно, прибавлять к ней разные ими самими сочиненные строфы, особенно когда у меня жар. Да так ловко, так находчиво. Я просто диву даюсь. Куда мне! Гораздо лучше меня. Да, пожалуй, и всех наших поэтов. Беда только в том, что я их запомнить не могу

никак, хоть и стараюсь. Но проснусь: нет, ни слова не помню! До слез досадно. Совсем как у Гейне. Про его сон с «ципрессами»[19]. Вы, может быть, помните?

– Да, я помню:

Ich wache auf, und der StrauB ist fort,
Und das Wort hab ich vergessen[20]

– Вот-вот, – радостно кивает Тэффи. – Это самое. Конечно, немецких поэтов сейчас цитировать неприлично. Всех, даже Гете. Но ведь Гейне – еврей. Его гитлеровцы из своих антологий исключили. Он не немецкий, он просто поэт. Его можно – А кошачья поэма, – напоминаю я.

Тэффи поправляет съехавший в сторону берет и проводит пуховкой по раскрасневшемуся от вдохновения и волнения лицу и начинает читать с нескрываемым удовольствием:

Тридцать три и два кота
И четыре кошки...

Поэма очень длинная. Я запомнила из нее только эти две строчки. А жаль – в ней было много остроумных находок и прелести.

Тэффи все же, как и полагается юмористке, была неврастенична и даже очень неврастенична, хотя и старалась скрыть это. О себе и своих переживаниях она говорила редко и, по ее словам «терпеть не могла интимничать», ловко парируя шутками все. Удачные попытки «залезть к ней в душу в калошах».

– Почему в калошах? – удивленно спрашиваю я.

---

[19] кипарисы (от нем. Zypressen)

[20] Я просыпаюсь – и ветки нет,
И я не припомню ни слова (нем.)

– Без калош не обойтись, – объясняет она. – Ведь душа-то моя насквозь промокла от невыплаканных слез, они все в ней остаются. Снаружи у меня смех, «великая сушь», как было написано на старых барометрах, а внутри сплошное болото, не душа, а сплошное болото.

Я смеюсь. Но Тэффи даже не улыбается. Она шагает рядом со мной и, подняв голову, сосредоточенно оглядывает дома по обе стороны улицы.

Она, должно быть, устала. Мы возвращаемся с прогулки. Со слишком большой прогулки для нее. Я забыла, я не подумала, что такой «спортивный пробег» в семь километров ей не по силам.

– Надежда Александровна, вы устали? – спрашиваю я.

Она качает головой.

– Нет, не то. Или все-таки устала. Но не от прогулки только, а оттого, что на этой несносной улице столько домов и все высокие. А я должна сосчитать, сколько окон в каждом этаже. Утомительно!

Я удивлена.

– Почему вы должны считать окна?

Она пожимает плечами.

– Разве я знаю, почему и зачем? Должна и все. Иногда не могу на улицу выйти – сейчас же обязана считать окна – четное или нечетное число их. Нечетное – да. Четное – нет. Четное приносит мне счастье. Я и номера автомобилей считаю. Но теперь, слава Богу, автомобилей почти нет. А в Париже просто беда. Идешь и головой крутишь: то на окна, то на автомобильные номера смотришь, легко самой под автомобиль угодить. Не каждый день это со мной. Но последнее время все чаще. Очень тяжело это и неприятно. И мучительно.

Я знаю, что считать номера автомобилей и окна домов один из признаков неврастении.

Но я говорю:

– Я и сама суеверна. А Жорж, тот суеверен до смешного.

Она морщится.

– Нет, это не суеверие. Хотя я, конечно, тоже суеверна. Но окна другое. Из области чтения наоборот. Ведь я читаю во второй раз справа налево каждую строку книги, письма и даже то, что сама пишу. Это изводит меня. И ничего не могу с собой поделать. Будто кто-то приказывает мне. Если не послушаюсь, знаю, плохо будет. И слушаюсь.

Мы выходим на набережную.

– Давайте посидим в «нашем» кафе, – предлагает она. – Вы меня действительно слегка загоняли. Отдохнем. Может быть, настроение улучшится. Хоть вряд ли.

Мы устраиваемся на террасе.

Она достает из сумочки зеркальце, смотрит в него, состроив гримасу.

– До чего противная физиономия! – она засовывает зеркальце обратно в сумку и звонко щелкает затвором. – Смотреть на себя тошно, да и на других тоже, – и спохватившись: К вам не относится, ведь о присутствующих...

– Не говорят, – кончаю я. – Не говорят, а думают. Все же, Надежда Александровна, скажите мне что-нибудь очень лестное, какой-нибудь комплимент, вроде как в одном из ваших рассказов, помните:

Твои глаза порой похожи
На снившийся во сне топаз.
Ни на одной знакомой роже
Я не видал подобных глаз.

Я смеюсь. Она поднимает брови в недоумении.

– Разве смешно? По мне, просто глупо. Хотя я это не выдумала, не сочинила. Это один прапорщик написал барышне в альбом; он был в нее влюблен, а она требовала от него мадригалов. Был у него еще и такой:

Вижу, вижу девку рыжу,
Да и ту я ненавижу.

Бедный? Ничего придумать не мог. Она была рыжая. Обиделась. Прогнала его. А через месяц его на войне убили. И это скорее грустно, чем смешно. Как жестока жизнь, как несчастен человек. Каждый мой смешной рассказ, в сущности, маленькая трагедия, юмористически повернутая.

Она проводит несколько раз перед глазами рукой, будто отгоняет муху или комара. Но ни комара, ни мухи нет. Я не решаюсь спросить, что означает ее жест.

– Иногда я чувствую себя странно. И отвратительно. Как сейчас вот. Мне кажется, что я когда-нибудь сойду с ума.

Я смотрю на нее испуганно. Голос ее звучит глухо, и в глазах несвойственное выражение тоски.

– Надежда Александровна, – робко советую я, – вы бы к доктору сходили.

– К доктору? – спрашивает она насмешливо. – Вздор! Пробовала. И не раз. Ни к чему не привело. Нет доктора, способного понять, что со мной делается.

– К специалисту по нервным болезням, – продолжаю я советовать.

Она прищуривается.

– Ну, конечно, нервами все объяснить можно. Все от нервов, как уверяла моя нянька, все – и куриная слепота, и понос, и пожар, и сап у лошадей. Только нервы здесь, как при сапе или пожаре, вряд ли виноваты. Вот я ломаюсь, как свинья на веревочке. Грожу сойти с ума.

Да только, как правильно говорит Мережковский, умные с ума не сходят. А в том, что я, Тэффи, умна, никто ведь сомневаться не может. Не так ли? – лукаво спрашивает она. – Все от безделья, от скуки. Печататься негде, впрок я писать не умею, вот глупые мысли и расплодились в мозгу, как тараканы. Шуршат, бегают, усиками шевелят. А мне от них коломятно и тошно. До того, что иногда просто хочется головой о стенку.

Она замолкает на минуту, отодвигает нетронутую чашку кофе и решительно встает.

– Ну, довольно с меня! До свидания. А таскать меня в такую даль на Cote Basque[21] вам не следовало. «Не такое нонче время, мой товарищ дорогой», чтобы на голодный желудок километры отмахивать. Пойду к себе отлеживаться.

– Вы сердитесь, Надежда Александровна? Простите, – растерянно говорю я. – Мне казалось, что это не далеко. И ведь так красиво.

– Ну и что, что красиво? – перебивает она. – «Красота спасет мир»? Успокоит и накормит? А вышло наоборот. Я действительно обозлилась. Нет, не на вас. На себя. За это дурацкое хождение по мукам. У меня ноги болят, распухли. Каждый шаг мука. А я из гордости скрываю. И зачем, спрашивается, я перед вами расквакалась? Стыд и срам!

Она сердито надвигает берет на лоб, протягивает мне руку и вдруг неожиданно заливается своим милым, легким смехом.

– Ну, ну! Не вздумайте огорчаться. Какая вы, право, забавная! Нельзя так за других расстраиваться в наши жестокие дни. Рано еще плакать надо мной. И совсем мне уже не так плохо. Даже совсем не плохо! Бросьте!

---

[21] Баскское побережье, район во Франции, на берегу Атлантического океана.

Бегите себе весело домой. Благо у вас дома тепло и уютно, и обед вкусный, и любящий муж. А обо мне не думайте. Пользуйтесь жизнью, пока судьба к вам так благосклонна. Ведь колесо фортуны вертится. Кто знает, может быть, и вы тоже когда-нибудь окажетесь под ним. Так старайтесь быть как можно счастливее теперь, чтобы потом было бы о чем вспомнить. Впрочем, не слушайте мои глупые советы. И воспоминания ни к чему, когда на душе мерзко. Все это вздор. Кланяйтесь Георгию Владимировичу.

И она, кивнув мне на прощание, быстро уходит.

Я смотрю ей вслед. Обыкновенно она, пройдя несколько шагов, оборачивается и машет мне рукой.

Но сейчас она идет по набережной опустив голову и даже не обращает внимания на пылающий над океаном закат, который она так любит.

Значит, ей действительно очень тяжело и очень плохо.

Как-то еще до войны, в Париже, Тэффи пришла к нам, сильно хромая. В тот вечер у нас собрались друзья.

– Ух, еле добралась! – и она тяжело опустилась в кресло, вытянув ноги вперед.

Все бросились к ней с расспросами. С минуту она, ни с кем не здороваясь, сидела молча с закрытыми глазами, потом вдруг встрепенулась, как птица, готовая к полету, оглядела всех присутствующих по очереди и рассмеялась:

– Что, напугала я вас? А теперь вам кажется, что я для забавы свою хромоножку по Достоевскому разыграть хотела – «ведь эта Надежда Александровна всегда что-нибудь уморительное придумает!» А вот и ошиблись! Я сейчас вместо того чтобы блистать на этом пышном приеме, могла бы лежать с переломленной спиной на больничной койке в госпитале, а то и вовсе, пожелав вам всем долго жить, отдать Богу душу, – и,

сделав паузу и полюбовавшись эффектом, вызванным ее словами, продолжала: – Вылезаю из метро на станции Пасси, взбираюсь по лестнице. А передо мной какой-то шустрый мальчишка лет восьми удивительно ловко скачет, на каждой ступеньке замысловатый прыжок проделывает. Очень мне понравилось и самой захотелось. Дай-ка, думаю, попробую. И попробовала! Хорошо еще, что за перила уцепилась, а то бы покатилась вниз и поминай как звали? Ведь лестница высоченнейшая, а я уже почти до верха добралась. Видно, мой час еще не настал. Мне еще рано умирать. А теперь, пожалуйста, пейте за мое здоровье, провозглашайте тосты, говорите речи? Люблю почет и уважение. И сознаю, что сегодня вполне заслужила – чувствую себя героиней. Нога-то здорово болит, а я все-таки притащилась, чтобы не огорчить вас моим отсутствием. Так начинайте же воспевать и превозносить меня?

В этот вечер Тэффи была необычайно – даже для себя – весела и остроумна. Трудно было поверить, что она так умеет скрывать боль. Но на следующее утро она вызвала доктора и ей пришлось пролежать в постели несколько дней. И тогда я поняла, насколько она стойка и мужественна.

* * *

В тот вечер мы с Георгием Ивановым ждали Буниных и Галину Кузнецову, с которой я дружила.

Они неожиданно привезли с собой Аминадо.

– Принимаете незваных гостей? – спросил он, не успев даже поздороваться с нами. – Примите, очень прошу. – И еще округлив свои темные и без того круглые глаза, быстро продолжал: – Деваться мне абсолютно некуда. Настроение собачье, самоубийственное. Пошел к Буниным, а они к вам собрались. Я и увязался

за ними. Моей дочке Леночке вырезали гланды. Моя жена вместе с Леночкой будет ночевать в клинике. Дома никого. А я не выношу одиночества. Не выношу... – И он, молитвенно сложив руки, почти пропел: – Не гоните меня!

Я, конечно, принялась уверять его, что мы с Георгием Ивановым страшно рады, с чем он, сразу переменив тон, шутливо согласился:

– Не сомневаюсь ни минуты! Дона Аминадо принять и угостить всем лестно. Он превращает обыкновенный день в праздник.

И хотя он, конечно, шутил, но это так и было. Наш обед действительно благодаря ему превратился в праздник. Мы сели за стол, Бунин брезгливо отодвинул тарелку:

– Я сегодня ничего есть не могу. Мне что-то с утра нездоровится.

Вера Николаевна испуганно замигала и со своего места громко зашептала:

– Ян, неудобно. Ешь! Ведь они так потратились.

Я с трудом удержала смех. Я уже знала, что Бунин почти всегда, придя в гости, грозил, что он сегодня есть не станет, что, впрочем, не мешало ему тут же проявлять отличный аппетит. Так, конечно, случилось и на этот раз.

Закусив и выпив, Бунин принялся изображать в лицах общих знакомых, как всегда, неподражаемо талантливо передразнивая их. Дон Аминадо, забыв о своем самоубийственном настроении, подавал ему остроумные реплики и сыпал тут же сочиненными в порыве вдохновения афоризмами и двустишиями. Из них я запомнила одно:

Жорж, прощай! Ушла к Володе.
Ключ и паспорт на комоде.

Целый эмигрантский роман в двух строчках. После обеда Буниным, как всегда, овладела «охота к перемене мест», и мы, не споря с ним, погрузились вшестером в такси и отправились на Монпарнас, где кочевали из кафе в кафе, нигде не засиживаясь.

Это продолжалось долго. Вера Николаевна, Галина Кузнецова и я начали проявлять признаки усталости. Даже Бунин притих. Георгий Иванов украдкой позевывал. Один Дон Аминадо никак не соглашался ехать домой.

– Неужели вы все так бессердечны, что хотите бросить меня одного на съедение тоске! – возмущался он, поднимая руки к небу. – Я просто не могу войти в пустую квартиру и лечь, как в гроб, в кровать. Вы обязаны, понимаете – обязаны остаться со мной до утра! Мы утром выпьем в «Доме» кофе с горячимы круассанами, – ведь это так вкусно, – и только тогда расстанемся.

Но этот план был нами единодушно отвергнут, и Дону Аминадо пришлось подчиниться общему решению.

В такси, везшем нас по темным пустым улицам спящего Парижа, он горестно вздохнул:

– Вот вы все не верите. Мне действительно очень тяжело и грустно. Мне всегда грустно и страшно одному. Меня сейчас же начинают грызть всякие страхи и предчувствия. Ведь хоть и легкая, а все-таки операция. Мало ли что может случиться?

Да и вообще, мало ли что может случиться. Я, как муха в безвоздушном пространстве, в одиночестве лопаюсь от тоски.

Бунин сочувственно кивнул.

– Что ж, понятно! Вы, дорогой Аминад Петрович, как и полагается заправскому юмористу, – пессимист, неврастеник, самогрыз, самоед. Как и Тэффи. Та, бедная, даже читать спокойно не может: все должна в уме

складывать, умножать и делить буквы. От неврастении, конечно. Вот могильщики и поэты – те, напротив, народ отчаянно веселый, беспечный. Я еще в Одессе знал одного такого – ежедневно умирал в стихах, а в жизни...

И Бунин, оживившись, пустился в красочные воспоминания о каком-то весельчаке – могильщике-поэте.

Дон Аминадо молча слушал, отвернувшись к окну. «Нет, он не притворяется», – думала я, глядя на него. Ему действительно тяжело и грустно. Он слишком любит своих – до преувеличения. И он, наверное, не меньше Бунина боится смерти, постоянно помнит о ней. Но Бунин боится своей смерти, а Аминадо смерти близких, любимых. И это, конечно, еще тяжелей.

В те «баснословные года» литературная жизнь цвела в Париже. Литературные вечера происходили в огромных залах «Сосьете Савант», «Ласказ», в «Плейель» и делали полные сборы.

В 1927 году Дон Аминадо, вместе с Тэффи, устроили общий вечер в «Плейель».

Тэффи, моложавая, эффектная, в ярко-красном, длинном платье, и Дон Аминадо во фраке, подтянуто-элегантный, вели на сцене блестящий, юмористический диалог-поединок, стараясь превзойти друг друга в остроумии. Зрители хохотали до изнеможения, до слез, до колик. Хохотали даже над тем, что, казалось бы, не должно было вызывать такой бурной реакции.

Так, рассказ Тэффи о том, что вчера она в аптеке собственными ушами слышала, как одна из наших дамбеженок подошла к аптекарю и, умильно заглядывая ему в глаза, попросила: «s'il vous plait, pendez-rnoi, monsieur»[22], был покрыт раскатами долго не смолкавшего хохота.

[22] Вместо pesez-rnoi, то есть повесьте меня» вместо «взвесьте меня» (Примеч. автора).

Через год Аминадо уже самостоятельно устроил свой собственный вечер в «Плейель».

Этот вечер я особенно хорошо запомнила оттого, что я была на нем конферансье. Вместе с Балиевым. Когда Аминадо сообщил мне о своем желании, чтобы я конферировала, я наотрез отказалась.

– Да что вы! Я не могу, не умею. Я даже в любительских спектаклях никогда не участвовала.

Но он взял меня под руку и безапелляционно заявил:

– Бросьте. Не спорьте со мной. Недаром про меня сочинили: «Молчи! Так надо! Я – Дон Аминадо». И вы молчите. Я решил. С вас ничего не требуется. Вы только наденете свое голубое платье, в котором блистали на новогоднем балу в «Лютеции». Все остальное предоставьте мне. Все без исключения. Соглашайтесь сейчас же!

И я согласилась.

Мне действительно не пришлось ни о чем заботиться. Аминадо не только написал текст всего, что мне полагалось сказать, но и прорепетировал его со мною несколько раз.

Я, выйдя на сцену, должна была не спеша дойти до самой рампы, остановиться, оглядеть зрительный зал, открыть сумочку, достать пудреницу и старательно сдуть с нее пудру в сторону зрителей. После чего, «попудрившись необычайно грациозно, улыбнуться своему очаровательному отражению в зеркале». И только проделав все это, объявить о начале вечера.

Для представления каждого выступающего мне пришлось выучить наизусть несколько фраз.

Так, представляя Мориса Ростана, я должна была сказать, указав на него плавным взмахом руки: – Le

poete de «La Gloire» et la gloire des poete[23]. Морис Ростан был автором пьесы «La Gloire».

На последней репетиции, когда Аминадо уже убедился, что я исполняю все в точности, он вдруг хлопнул себя по лбу и воскликнул:

– А самое главное я почти проворонил. Ведь вы ходить по сцене не умеете!

И хотя я его убеждала, что это-то я как раз и умею, он не поверил.

– Завтра привезу к вам Балиева. Пусть он с вами займется. Ждите нас около двух часов. Не уходите никуда. Сидите и ждите.

На следующий день он действительно приехал ко мне с Балиевым.

Балиев в прихожей долго и шумно переводил дыхание, будто поднялся на пятый этаж без лифта, хотя мы жили в «рэ де шоссе»[24] Войдя, он сейчас же тяжело опустился на диван, недовольно выпятив толстые губы:

– Только для вас, Аминад Петрович, пошел на эту мороку. Посмотрите на этого Ангела Смерти (я тогда недавно выпустила свой роман «Ангел Смерти»), ходит совсем недурно. А на сцене, конечно, прокатится, как игрушечный заяц на колесиках. Ну, начнем!.. Валяйте от двери до окна, – вы на сцене, помните!.. На сцене!

Я прошла широкими шагами, как меня когда-то учили, еще в Петербурге, на уроках пластической гимнастики.

Балиев свистнул и развел руками.

– Ну, этого Ангела, пожалуй, учить ходить по сцене нечего. Он сам всякого научит. Тащите чай или что вы там для нас приготовили.

---

[23] Поэт «Славы» и слава поэта (фр.)

[24] первый этаж (от фр. rez de chaussee)

Вечер Дона Аминадо прошел прекрасно. Мне даже казалось, что это был самый удачный из всех литературных вечеров того времени.

В антракте, в переполненной комнате для артистов, я протолкалась к Аминадо и схватила его за локоть.

– Ах, как чудесно! Как весело! Как я рада, что вы уговорили меня. Мне никогда еще не было так весело, как сегодня! Он мрачно взглянул на меня.

– Рад, что вам весело, а мне так совсем невесело!

– Но почему? Почему? – недоумевала я. – Ведь все так чудесно! Такой восхитительный вечер! И полный сбор, конечно...

– Пропади он пропадом, этот вечер! – перебил он мои восторги. – Мою мать посадили не в ту ложу, которую она хотела, и она на меня страшно рассердилась. Даже уехать хотела...

< ...>

* * *

1928 год. Мы с Георгием Ивановым живем в Париже, в меблированной квартире (13, rue Franclin), напротив особняка Клемансо. Окна наши выходят в хозяйский сад, в нем гуляют круглые большие голуби, распустив по-павлиньи хвосты. Они, особенно когда освещены солнцем, кажутся фарфоровыми. А деревья шумят здесь – или это мне только кажется – совсем особенно, как в Летнем саду, а не как в Люксембургском или Булонском лесу – скорее шелестят, тихо и легко шепчутся по-русски.

Мережковский, когда он впервые с Зинаидой Николаевной побывал у нас и осмотрел наш дом, воскликнул:

– Нет, все-таки я бы ни за что не поселился здесь! Ни-за-что! В 13 номере. Ведь теперь все удары и невзгоды посыпятся на вас.

Георгий Иванов саркастически улыбается:

– А сами вы, Дмитрий Сергеевич, позвольте узнать, в каком номере изволите проживать?

Мережковский удивленно уставился на него – ведь Георгий Иванов уже несколько лет еженедельно бывает на 11-бис Колонель Боннэ. Зачем же он спрашивает? Все же, привыкший к точности, он отвечает:

– Разве вы не знаете? На 11-бис.

Брови Георгия Иванова взлетают еще выше.

– А что это такое, 11-бис? Тот же 13, только закамуфлированный, что ему, конечно, придает еще большую зловредность.

Мережковский, пораженный никогда не приходившей ему в голову мыслью, растерянно оборачивается к Зинаиде Николаевне:

– Зина, ты слышишь, что он говорит? Мы, оказывается, живем в 13 номере! Этого быть не может, скажи ему!

Но Зинаида Николаевна вовсе не потрясена таким открытием. Как всегда, она кокетливо-капризно тянет:

– Георгий Владимирович прав. Мы живем в закамуфлированном 13 номере. Ведь следующий дом 15-й. И стыдно быть таким суеверным. Успокойся!

Но Мережковский в тот вечер не мог успокоиться и оставался задумчивым в постройке его мировоззрения вдруг обнаружилась щель, пусть микроскопическая, но все же щель. Он был страшно суеверен. Впрочем, Георгий Иванов был, наверное, еще суеверней его. Но числа 13 он не боялся и даже любил его. Как бы то ни было, мы благополучно прожили на 13 rue Franclin до 1931 года, и ничего скверного с нами там не случилось.

Но сейчас только 1928 год. Я в сопровождении нашего с Адамовичем общего, а особенно моего, «авангардного» французского друга Жоржа Батая собираюсь на сюрреалистический вернисаж. Он старается открыть для меня новые горизонты.

Но мы с Георгием Ивановым и Адамовичем все трое относились довольно скептически к его открытиям. Нас, видавших и футуризм и всяческих ничевоков, сюрреализмом не удивишь.

Батай восхищается русской революцией, что нас не сердит, а смешит и не мешает нашей дружбе. Нам этот будущий великий философ кажется очень симпатичным, наивным и милым и не слишком умным.

Я, как всегда перед выходом, долго верчусь перед зеркалом в прихожей, примеряя то одну, то другую шляпу. Шляпы тогда еще играли большую роль в женском туалете. У меня их было много – на все случаи жизни.

Батай терпеливо ждет. Георгий Иванов смотрит на часы: – Двадцать минут пятого, Поплавский уже не придет. Клялся и божился, что будет у меня в половине четвертого. И как просил, чтобы я принял его. Безобразие. Больше не пущу его к себе.

– Наверное, проспал или забыл... – примирительно говорю я. – Не сердись!

Георгий Иванов пожимает плечами:

– Буду я сердиться. Подумаешь. Но ведь как умолял.. чтобы я выслушал его стихи. И вот не пришел.

Я натягиваю перчатки и в последний раз оглядываю себя в зеркале.

– Пожалуйста, если почему-либо задержишься, позвони по телефону. Без этой ритуальной напутственной фразы я никогда не выхожу из дома. Но когда опаздываю, все же почти никогда не звоню.

– Я вернусь к обеду, беспокоиться тебе нечего.

Георгий Иванов открывает дверь. Перед ней, держа в одной руке очки, а в другой тетрадку, стоит Поплавский. От неожиданности он роняет очки и тетрадку на пол. Исписанные страницы падают к его ногам.

– Поплавский! – удивленно вскрикивает Георгий Иванов, нагибаясь за черными очками, лежащими на ковре. Ведь без них Поплавский, наверное, ничего не видит. То, что он носит очки «зря», нисколько не нуждаясь в них, «для прикрытия глаз», еще неизвестно Георгию Иванову.

У Поплавского совершенно растерянный вид. Все это так забавно, что я не могу удержать смех.

– Что же вы тут стояли и не звонили? – спрашиваю я смеясь.

– Я, – почти плачущим голосом объясняет Поплавский, – уже давно тут стою. Больше получаса. Пришел слишком рано. Боялся позвонить. Не мог...

Наконец все страницы подобраны, и мы с Батаем уходим.

В тот вечер я, как всегда, опоздала к обеду, но Георгий Иванов даже не ворчал. Он взволнованно начал читать мне отрывки стихов Поплавского:

– Послушай, это удивительно талантливо, хотя и сильно смахивает на Рембо.

Приходите к нам в гости,
Когда мы уйдем...
....
Не занимайтесь моими следами
Ветру я их поручаю стереть...

С этого дня Георгий Иванов, открывший много молодых талантов, в том числе и Смоленского, серьезно занялся Поплавским. Для начала он выдержал бой с Адамовичем, тогда еще совершенно не признававшим стихи Поплавского, и повел его к Мережковским.

Зинаида Николаевна хорошо приняла его, и он вскоре сделался желанным гостем на «воскресеньях». Выяснилось, что он замечательный оратор. Лучший даже, чем «златоуст эмиграции» Адамович.

Конечно, ни его, ни Адамовича я «святотатственно» не сравниваю с «самим» Мережковским – действительно ни с кем не сравнимым. Впрочем, оратором Мережковского назвать трудно. Такое определение к нему не совсем подходит – в особенности когда он не произносит тщательно обдуманный доклад, а импровизирует в «Зеленой лампе» или на «воскресеньи», когда он, уносимый порывом дикого вдохновенья, как бы вырастает на глазах у слушателей и, кажется, поднимается в воздух над своим стулом. Он пророчествует, как библейский пророк.

Холодная дрожь восторга, похожего на священный страх, пробегает по моей спине. Я слушаю его не только ушами, но всем существом. Я не особенно разбираюсь в том, о чем он пророчествует, меня не очень интересуют вопросы об Атлантиде, о Тайне Трех или Апокалипсисе. Но я покорена, я раздавлена, я готова, не рассуждая, подписаться под его словами. В эти минуты он владеет не только истиной, но и моей волей, как и волей большинства слушателей. Очень немногие могут не поддаться его магии.

Потом, когда он кончит пророчить и превратится снова из библейского пророка в маленького сутулого старика с шаркающей походкой, слушатели снова овладеют собой и пустятся в дискуссию с ним, опровергая высказанные им тезисы.

Ведь бесконечные дискуссии – главное содержание не только заседаний «Зеленой лампы», но и «воскресений». Поплавский постоянно блистал на них.

Да, повторяю, он был прекрасным оратором. И это несмотря на чрезвычайно невыигрышную внешность –

внешность слепца. Отсюда и черные очки, скрывающие его кажущиеся слепыми глаза. Он, впрочем, отлично видит. Он сам, должно быть, сознавал странное впечатление, производимое его глазами, и никогда не снимал черные очки.

Ведь глаза – зеркало души. Но его глаза вряд ли были зеркалом его души. Это были странные, неприятные глаза, производившие на многих просто отталкивающее впечатление. В них совсем не отражалась его душа – душа поэта.

Его черные очки, впрочем, были иногда и полезны. В метро и в автобусах, даже в часы наплыва, для него всегда находилось сидячее место: уступи место слепенькому.

Адамовичу в его ораторской карьере помогали его очень красивые и большие глаза, проникновенно устремленные вдаль, и его изящный петербургский подтянутый вид.

Поплавский же был мешковат, небрежно одет и на эстраде производил довольно жалкое впечатление. Голос его был гнусавый и какой-то обиженный, почти плачущий. Казалось бы, как выступать публично при таких данных?

И все же стоило ему бочком взобраться на эстраду, произнести несколько плохо между собой связанных слов, тряхнуть головой и выпрямиться, как речь его уже лилась неудержимо, удивляя блеском, остротой мыслей и главное парадоксами, а иногда просто ошарашивая слушателей.

Так, он чуть ли не на первом своем выступлении в «Зеленой лампе» объявил, что скорбит об участи непосильно трудящихся, особенно о грузчиках и проститутках, чем на полвека предвосхитил свое время. Его заявление возмутило многих в те далекие времена.

Умел он и возбуждать у дам не только улыбку, но и негодование «огнем нежданных эпиграмм» и парадоксов. Так, на одном из «воскресений» у Мережковского присутствовали гости из Москвы – супруги «рыбьи профессора», написавшие много книг о рыбах и пожелавшие посетить светочей, «великих борцов за свободу» Гиппиус и Мережковского.

Поплавский, пользуясь короткой паузой, перебивая Зинаиду Николаевну, громко заявил, что свобода несет горе и беды и что ее следует заменить прекрасным рабством, так как рабы наисчастливейшие люди на земле, что в России надо восстановить крепостное право и подарить мужикам счастье рабства.

«Рыбьи профессора» испуганно заморгали, стали смотреть на часы, встали из-за стола, ссылаясь на то, что их ждут, очень ждут, и они уже сильно опаздывают.

Уговоры Зинаиды Николаевны не уходить остались без результата. Они не уходили, а бежали в полном расстройстве чувств. Подавая пальто «рыбьей профессорше», Злобин разобрал, как она про себя шептала, как бы в забытьи: «Господи, и это эмиграция! Какие страшные зубры! О Господи!» – о чем он, вернувшись в столовую, и рассказал со смехом.

Конечно, Зинаида Николаевна отчитала Поплавского за его неприличную выходку, но больше для виду. Ему, первому из молодых поэтов – к тому времени он уже успел им сделаться – многое было позволено, даже слишком многое.

Поплавский с легкой руки Георгия Иванова и при «попустительстве» Адамовича молниеносно вознесся и стал в первом ряду молодых поэтов.

Молодыми поэтами считались те, кто начал свою поэтическую карьеру уже за рубежом, хотя некоторые были старше «маститого» Георгия Иванова и даже Адамовича.

Но Поплавский был действительно молод. Родился он в 1903 году и учился, вернее, недоучился в Константинополе. Грамотно писать он ни на одном языке так и не выучился, и рукописи его пестрели просто чудовищными ошибками.

Но отсутствие грамотности, как известно, не помеха таланту. Гумилев был почти так же безграмотен, как и Поплавский.

Еще об удивительном ораторском даре Поплавского.

Заседание «Зеленой лампы». Доклад Николая Оцупа. Переполненный зал избранных слушателей. Вход только по личным приглашениям, рассылаемым Злобиным. Антракт. Николай Оцуп спускается с эстрады, важно поделившись своими мыслями и домыслами о Прусте и Джойсе. У Оцупа совсем особая манера произносить речи с эстрады. В обыкновенной жизни он говорит гладко, легко, просто и ясно, не обнаруживая никаких речевых недостатков. Но на эстраде все меняется коренным образом. Он весь как бы тяжелеет, кроме рук, принимающих большое участие в его выступлении. Они грузно и энергично упираются в стол, будто выдавливая из него странный длительный звук э-э-э, прерывая старательно отчеканенные фразы. Выражение лица напряженно-мучительное, жилы на шее надуты – нелегко даются ему эти выступления.

Я недоумеваю: к чему так мучить себя? Лавров ему его выступления не приносят. Слушать его тяжело. Аудитория все же наградила Оцупа, как и следует, – ведь он так старался, бедняга, – аплодисментами, правда, не очень звонкими. Он кланяется, улыбается, блестя черными глазами – и вот уже он такой, как всегда: красивый, белозубый, стройный, просто и ясно осведомляющийся о впечатлении от его речи на слушателей.

Я – а как же иначе – кривлю душой, очень хорошо. Николай Авдеевич. как всегда, хорошо, содержательно и умно.

Для меня в заседаниях «Зеленой лампы» самое интересное – антракты и кулуары, как мы называли литературные встречи и разговоры. Сегодня здесь особенно много знакомых. Даже и мой большой друг Василий Алексеевич Маклаков. Мы только успели поздороваться и обрадоваться друг другу, как ко мне, решительно шагая, подошел Поплавский и произнес плачущим голосом:

– Очень прошу. Простите. На два слова. Очень нужно.

Я удивленно смотрю на него. Я с ним не в близко-дружеских отношениях, а скорее далеко-далеких. Что ему так спешно могло понадобиться от меня?

– Очень прошу, очень! – настаивает он.

Я сдаюсь и, кивнув Маклакову, отхожу с Поплавским в сторону.

– Неужели вы не могли подождать?

– Ради Бога, простите, – перебивает он, – никак не мог. Читали ли вы Джойса?

Я киваю:

– Читала. Ну, и?..

– Мне необходимо. Только вы, кажется, можете. Расскажите скорей о нем и о Прусте. Правда про усы? кота? И что все длится один день?

Он закидывает меня вопросами. Я добросовестно отвечаю на них. О Прусте: название всех томов и все имена – Сван, Германт...

– Но ведь вы перепутаете.

– Нет, нет, только скорей, ради Бога. Пробковая камера была? Сван женился на Одетте? А Джойс ирландец? И преобразовывал язык? Вы не сочиняете?

Правда? Так все и было? А насчет стиля Пруста и Джойса Оцуп правильно говорил?..

Но Георгий Иванов, бессменный председатель «Зеленой лампы», уже звонит в колокольчик, объявляя заседание открытым, и Поплавский, на полуслове оборвав очередной вопрос, устремляется к эстраде.

И вот уже он плачущим, захлебывающимся от волнения и вдохновения голосом убедительно передает только что услышанное от меня, проникновенно углубляя, расширяя, преображая и украшая его «цветами своего красноречия» и словесной находчивости.

Я с изумлением слушаю его. Если бы он сам десять минут тому назад не признался мне, что не читал ни Пруста, ни Джойса, я была бы уверена, что он тщательно изучал их.

Рядом со мной сидит Николай Бернгардович Фрейденштейн-Фельзен, «Спарженька», как его окрестила Зинаида Николаевна. На одном из «воскресений» она, сквозь лорнет оглядев посетителей, собравшихся за чайным столом, обнаружила отсутствие Фельзена и недовольно протянула:

– А этот, как его... эта спаржа сегодня не пришла?

«Спаржа» действительно как нельзя лучше подходила к внешности Фельзена. Он был еврей, но до чрезвычайности походил на немца, к тому же он окончил Петершуле, немецкую петербургскую гимназию. Очень тонкий высокий блондин с голубыми светлыми глазами, он действительно походил на спаржу, и, с легкой руки Зинаиды Николаевны, его так и стали звать «Спаржа» или «Спарженька», на что он совсем не обижался.

Был он знаток и почитатель Пруста и себя считал «русским Прустом», правда, без больших прав на это. Не понимаю, почему Поплавский обратился ко мне, а не к нему, специалисту-прустианцу, за сведениями.

Должно быть, из-за Джойса – им Спаржа не интересовался.

– Пруст жил, – говорит Поплавский, – в пробковой камере, в которую не доносился ни один звук из внешнего современного мира, запер в нее восстанавливаемое им прошлое, воскрешая его для бессмертной жизни...

Спаржа поворачивается ко мне и шепчет:

– Удивительно. Я и не подозревал, что он так чувствует и понимает Пруста. Какой молодец! Какая светлая голова! Я просто поражен и восхищен им. Казалось бы, я все о Прусте знаю, а он открывает мне новое. Надо будет перечитать Пруста.

Я киваю. Я тоже поражена. Я тоже восхищаюсь. Какой молодец!

И Поплавский с того вечера прослыл знатоком Пруста и Джойса, так, по всей вероятности, никогда и не удосужившись прочитать их.

В тот вечер он снова удивил меня. Мы после «Зеленой лампы» шли целой группой на Монпарнас, обсуждая блестящее выступление Поплавского, и он, упоенный успехом, был особенно оживлен, переходя от одного собеседника к другому.

Вдруг он остановился, нагнулся и поднял с земли длинный железный прут и, повертев его в руках, заявил:

– Я могу его свернуть жгутом.

– Вздор. Брось хвастаться, Бобка, – запротестовали остальные.

– Нет, сверну! Сказал сверну, и сверну! – настаивал он.

Но никто его уже не слушал. Разговор перешел на другие темы.

Поплавский отстал от группы, и никто не обращал на него внимания. Только перед самым входом в кафе «Куполь» он подбежал к Адамовичу:

– Георгий Викторович, смотрите, я свернул! – закричал он победно.

Руки его, как и голос, дрожали. Лицо блестело от пота, несмотря на то, что было холодно.

Адамович брезгливо поморщился:

– Стоило тоже! – Спортивными достижениями, кроме теннисных, он не интересовался. И Поплавский стал показывать свернутый жгут остальным.

В смерти Поплавского много неясного: естественная ли это смерть или самоубийство? Многие утверждают, что это было самоубийство. По их мнению, иначе и быть не могло. У него, как они говорили, было «лицо самоубийцы». Он стремился к самоуничтожению, он обязательно должен был трагически окончить жизнь и т. д.

Конечно, я не могу судить о том, «что было бы, если бы не было...». И не спорю о том, «стремился ли он к самоуничтожению» и была ли его трагическая судьба написана на его лице. Я только утверждаю, что он не был самоубийцей, а был убит. Вот факты, позволяющие мне говорить это.

Кто был Поплавский? На этот вопрос я не берусь ответить, да и вряд ли кто-нибудь может это сделать. Он такая же «неразгаданная загадка», как и Рембо, имевший большое влияние на него не только как поэт, но и как личность.

Поплавский очень быстро «вознесся». Он издал сборник стихов «Флаги» и занял одно из первых, если не первое место среди молодых поэтов. Известность его достигла апогея к концу жизни. Он начал печататься даже в «Современных записках» – цитадели старых знаменитостей.

Но скоро выяснились странности его характера. Он сам говорил о себе:

– Опять я одним перехамил, перед другими перекланялся. Я всегда – или в морду, или в ножки.

К сожалению, с годами этих перехамлений и мордобитий становилось все больше. Но ему все сходило с рук. Он постоянно устраивал скандалы. Я сама тогда редко бывала на Монпарнасе и, к счастью, на них не присутствовала. Но Георгий Иванов с возмущением рассказывал мне о них:

– Безобразие! Ведет себя, как хулиган. Я его предупреждал, что не потерплю этого. Он позорит поэтов, потом униженно просит прощения, клянется, что больше не будет, а на следующий день снова устраивает скандалы. Мое терпение лопнет, если он не изменится.

И терпение его действительно лопнуло. Поводом к этому послужило происшествие на балу в пользу молодых поэтов.

Один из мемуаристов описал случай на этом балу довольно фантастично. По его версии, на балу, устроенном какими-то дамами-патронессами в Русской консерватории, Поплавский дал пощечину кинозвезде, герою фильма «Буря над Азией» Инкижинову. Узнав об этом, Георгий Иванов собрал всех молодых поэтов и пошел с ними извиняться перед Инкижиновым. Но тот не приняв извинений, выругался по-русски и ушел со своей дамой.

На самом деле все произошло не так. Бал этот устраивала я, а не «дамы-патронессы», и не в консерватории, а в особняке одной моей знакомой маркизы на Champ de Mars – впоследствии этот случай на балу получил прозвище «Буря на Champ de Mars». Поплавский действительно, получив отказ танцевать с его дамой, ударил Инкижинова по лицу, но извинялась перед ним одна я как хозяйка бала. Поплавского тотчас же оттащили, и он, громко ругаясь, «покинул бой».

И тут Инкижинов просто изумил меня своим тактом и благородством, уверяя, что я напрасно принимаю к сердцу эту пьяную хулиганскую выходку. Он обещал мне в Москве никому не рассказывать о ней, понимая, какое зло это может принести зарубежью. К хулиганам он и у себя дома привык. Он объяснил, что никак не реагировал на оскорбление, не желая превращать этот столь удачный бал, наверное, стоивший немало труда, в кулачный бой. После этого разговор перешел на другие темы. Я еще посидела с ними, выпили шампанского, и он мирно уехал со своей дамой. Я же вернулась в главный зал, где пел Вертинский.

На следующий день Георгий Иванов получил письмо от Поплавского с мольбой простить его, так как он был совершенно невменяем и не мог отвечать за свои поступки, что он на улице подрался с полицейскими, был зверски ими избит и провел остаток ночи в участке. Он клянется, что это его последний скандал, и умоляет о прощении.

Но Георгий Иванов не простил его, а подверг остракизму, запретив всем поэтам общаться с ним. Власть Георгия Иванова была почти безгранична, и этот декрет был безоговорочно принят. Поплавский, как потерянный, бродил один по Монпарнасу, и никто не смел с ним разговаривать или здороваться.

– Конечно, только в твоем присутствии, – говорила я Георгию Иванову. Без тебя, я уверена, они попрежнему дружат с ним.

Так прошел год. Георгий Иванов решил, что наказание длилось достаточно долго, простил его и даже пригласил к нам. У нас в то время устраивались «четверги» с чтением и разбором стихов, и Поплавский присутствовал на одном из них – в первый и последний раз в жизни...

Мы с Георгием Ивановым приняли его очень любезно, а он сиял, исходя восторгом. Он в этот вечер действительно казался счастливым. Ведь его не только простил Георгий Иванов, но, как он сообщил нам, он еще и закончил свой роман «Домой с небес». Его поздравляли как именинника, и тут же было решено, что он будет читать его у нас в будущий четверг. Мы, как всегда, уселись в круг, чтобы читать стихи. Я ясно помню, как Поплавский написал записку, и ее стали передавать, пока она не дошла до Лидии Червинской, которой была адресована. Она прочла, подняла руку, сделала ею отрицательный жест и громко сказала:

– Во вторник я занята.

Это было приглашение на тот роковой «наркотический пир», стоивший жизни Поплавскому. Через неделю после смерти Поплавского во французских газетах появилось письмо наркомана, пригласившего тогда Поплавского на этот пир. В письме он писал своей невесте, что кончает жизнь, но так как ему страшно умирать одному, то он берет с собой попутчиков.

< ...>

Ирина Владимировна Одоевцева

На берегах Сены

16+

Ответственный редактор *А. Иванова*
Корректор *М. Глаголева*
Верстальщик *С. Мартынович*

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334-72-11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru
www.directmedia.ru

Отпечатано в ООО «ПАК ХАУС»
142172, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Космонавтов, д.16